

Оттиск из «Ученых записок Ленинградского Ун-та», Учен. зап. Казан. ун-та, Сер. Филол. науки, 1937 г., т. VII, 1937 г.

В. А. Закруткин

Библиотечке Института литературы
Академии Наук.

9 марта 1938 г.

Закруткину

„БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ“ ПУШКИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Белинский назвал поэму „Братья-разбойники“ неразгаданной вещью. И действительно, пожалуй, редкое из пушкинских произведений до сих пор так мало изучено, как „Братья-разбойники“. Обычное, узаконенное дворянско-буржуазным пушкиноведением место „Братьев-разбойников“ в цикле „южных“ „байронических“ поэм, немногие попытки изучения поэмы, ограниченные узко компаративистскими формалистическими методами, стремление исследователей отыскать скрупулезные синтаксические аналогии в „восточных“ поэмах Байрона и этим определить генезис „Братьев-разбойников“ — привели к тому, что одно из самых замечательных произведений молодого Пушкина, имеющее совершенно особую историю и исключительное своеобразие тематики, было отодвинуто на второй план и заслонено такими шедеврами „южных“ поэм, как „Бахчисарайский фонтан“ и „Цыганы“.

При изучении „Братьев-разбойников“ если и пытались говорить о фактах реальной действительности, то ограничивались сделанной мимоходом ссылкой на бегство двух заключенных из екатеринславской тюрьмы; однако этот побег, свидетелем которого, в бытность свою в Екагеринославе, был Пушкин и на который поэт ссылался в известном письме Вяземскому, был в сущности не более как эпизодом, пришедшим на память Пушкину, когда он начал работать над поэмой. Пушкин ссылался на этот эпизод как на реальный факт, служивший подкреплением в доводах о сюжетной независимости „Братьев-разбойников“ и отводящий упреки в подражании „Шильонскому узнику“.

Разумеется, обойти этот факт нельзя, тем более что его реальность установлена: по моему письму на имя директора Днепропетровского областного исторического архива, разысканы дела о побеге двух разбойников, одним из которых был знаменитый Яков Засорин (см. газету „Комсомольская правда“ от 9 мая 1936 г.). Но нельзя забывать, что этот факт послужил Пушкину в качестве образца только для одного эпизода, включенного в сохранившийся отрывок поэмы.

Летом 1823 г. Пушкин сжег „Братьев-разбойников“. Этот важный факт в творческой истории поэмы, одно наличие которого, подтвержденное не подлежащим никакому сомнению источником — свидетельством самого Пушкина, должно было заставить осторожнее и серьезнее подойти к вопросу изучения поэмы, как бы прошел мимо исследователей.

Почему Пушкин сжег поэму? — вопрос, который сейчас следует поставить во всей его категоричности. Только ли воображаемые синтаксические аналогии с „Шильонским узником“ Байрона заставили Пушкина уничтожить „Братьев-разбойников“?

Думается, что установление генетических особенностей поэмы не изученных до сегодняшнего дня, может способствовать разрешению этой чрезвычайно важной проблемы; и, конечно, почву происхождения поэмы следует искать прежде всего в той реальной обстановке, которая окружала поэта во время пребывания в Бессарабии. Некоторые черты Бессарабии пушкинского времени, бывшие до сих пор вне поля зрения исследователей, дают ряд фактов для установления генезиса поэмы.

В последнее время очень своевременно стали раздаваться голоса, предостерегающие против стремления объяснять все произведения Пушкина „местными“ особенностями, „обусловленностью“ России 20—30-х годов XIX в.; это верно, как верно и то, что Пушкин не только поэт гигантских масштабов, но и человек огромной мировой культуры, что осмыслить пушкинское творчество можно только в плане изучения его произведений, включенных в европейскую историю общественной мысли, культуры, литературы.

Однако для общего осмысления Пушкина не меньшее значение имеет изучение конкретных особенностей русской исторической действительности, в непосредственном соприкосновении с которой развивался гений Пушкина, которая направляла и корректировала его идеологическую целеустремленность и своим содержанием определила контуры его художественных полотен. И в этом смысле, без боязни оказаться в порочном кругу „научного провинциализма“, можно утверждать, что „Братья-разбойники“, как и „Евгений Онегин“, „Борис Годунов“, „Медный всадник“, „Капитанская дочка“, „Повести Белкина“ и многие другие произведения великого поэта, никоим образом не могут быть поняты и осмыслены без внимательного изучения русской исторической действительности.

В настоящей работе мною была также поставлена задача историко-литературного освоения „Братьев-разбойников“ на фоне европейской „разбойничьей“ литературы, достигшей широкого развития во второй половине XVIII в. и первой половине XIX в., изучения творческой истории и социальных функций поэмы, установления ее связи с фольклором, а также определения места „Братьев-разбойников“ как в творчестве самого Пушкина, так и в русской литературе вообще.

Задача эта чрезвычайно усложнилась тем, что пришлось даже в вопросах, часто имеющих второстепенное значение для темы, идти по непроторенным путям. Колоссальная „разбойничья“ литература ряда европейских стран до сих пор не изучена в той мере, которая позволила бы обратиться к ней без длительных экскурсов в сторону от темы; докторская диссертация Müller'a - Frauenreuth'a, *Die Ritter- und Räuberromane* (Halle, 1894), Appel'a, *Die Ritter, Räuber- und Schauerromantik* (1859), работы Helene Richter, *Geschichte der englischen Romantik* (Halle, 1911), Hans'a Möbius'a, *The Gothic Romance* (1902) и несколько других устаревших работ — вот приблизительно все основное, что было сделано западными историками

литературы по изучению *Räuberromane* в общем плане. Это заставило обратиться к новейшим монографиям, посвященным творчеству отдельных писателей, культивировавших на Западе „разбойничьи“ жанры; значительные материалы были использованы мною из работ о Шиллере, в особенности из обстоятельной двухтомной монографии ливерпульского профессора Eggli, *Schiller et le romantisme français* (Paris, 1927). Помимо указанных работ приходилось обращаться к монографиям о „второстепенных“ писателях: Нодье (J. L a r a t, *La tradition: et l'exotisme dans l'oeuvre de Ch. Nodier*, P. 1923), Волполе (L. B. Seelaу, *H. Walpole and his world*, 1893) и др. Задача становилась еще сложнее в связи с тем, что значительное большинство использованных монографий не отвечает, разумеется, тем требованиям, которые предъявляются к историко-литературным работам марксистским литературоведением; поэтому возникла необходимость подвергнуть пересмотру большое количество „разбойничьих“ поэм, романов и повестей.

Не меньшую, если не бóльшую трудность представляла собой задача изучения исторических особенностей Новороссии и Бессарабии пушкинского времени, подсказавших поэту „разбойничью“ тему и определивших ее содержание. Один из важнейших этапов биографии Пушкина — период его политической ссылки на юг — до сих пор не разработан в специальной литературе (вне поля зрения пушкиноведов остался, скажем, такой „мелкий“ факт, как крупнейшее восстание крепостных крестьян, охватившее весной 1820 г. всю Екатеринославскую губернию и область Войска Донского, восстание, свидетелем которого был Пушкин). Данный раздел исследования почти целиком построен на обнаруженных мною и опубликованных архивных материалах.

Что касается русского „разбойничьего“ фольклора крепостного крестьянства, то его история и сейчас еще ждет своего исследователя; кроме многочисленных записей и публикаций, а также статей по отдельным вопросам, пожалуй, только публичная лекция профессора Харьковского университета Н. Я. Аристова „Об историческом значении русских разбойничьих песен“, читанная им в Тамбове 26 мая 1874 г. и опубликованная в воронежских „Филологических записках“ 1874 г., представляет собой попытку дать более или менее полное обобщение по вопросу об истории „разбойничьего“ фольклора; но 60-летняя давность этой ценной работы говорит сама за себя и, конечно, не могла в полной мере способствовать установлению связи литературных произведений пушкинского времени (и, понятно, самой поэмы „Братья-разбойники“) с фольклором.

Сказанное определило содержание, объем и цель исследования. Приступив к нему в июне 1933 г., я не предполагал, чтобы материалы, почерпнутые из разных, находившихся до сего времени вне научного оборота, источников, а также архивные документы приняли нынешние размеры. Это послужило причиной систематического расширения границ исследования; пришлось примириться с тем, что некоторые главы вышли по своему размеру за предполагаемые мною пределы.

Разумеется, все рукописи Пушкина, относящиеся к „Братьям-разбойникам“: набросок в записной книжке 1820—21 гг. (так называемые тетради Тарасенко-Отрешкова л. 49 об.), хранящейся в рукописном от-

делении Лен. гос. публ. б-ки, черновики из б. парижского собрания А. Ф. Онегина (ИЛИ), в тетрадах № 2365 (лл. 51 и 52), № 2366 (лл. 19 и 19 об.), хранящихся в Моск. гос. публ. б-ке им. Ленина, план поэмы (тетрадь № 2365, лл. 46 и 61 об.), отрывок копии белого оригинала поэмы, отосланный Пушкиным Вяземскому в ноябре 1823 г. (Центр. ист. архив), а также часть эпистолярного пушкинского фонда, содержащая упоминания Пушкина о поэме (черновик письма к Н. И. Гнедичу от 29/IV 1822 г., хран. в Б-ке Академии наук, письмо к А. Бестужеву от 13/VI 1823 г. — в Б-ке Академии наук и черновик этого же письма в тетради № 2366, лл. 35 — 36 об., письмо к Вяземскому от 14/X 1823 г. в Центр. ист. архиве и черновик его в рукописи Моск. публ. б-ки № 2369, лл. 15 об. — 16, письмо к Вяземскому в ноябре 1823 г. в Центр. ист. архиве и черновик его в рукописи № 2369, л. 41, письмо к Вяземскому от 11/XI 1823 г. в Центр. ист. архиве, письмо к Вяземскому от 15/VI 1824 г. в Центр. ист. архиве, письмо к Л. С. Пушкину 1826 г. в Моск. публ. б-ке), подвергнуты мною тщательному текстологическому обследованию, в результате которого в транскрипцию черновиков внесены значительные дополнения и исправлены места, ошибочно прочитанные комментаторами — текстологами.

Неопубликованные материалы по истории Новороссии и Бессарабии, а также по истории бессарабских разбоев обнаружены мною в архиве департамента полиции исполнительной министерства внутренних дел и архиве бессарабского наместничества (Лен. архив внутренней политики, культуры и быта); неопубликованные материалы по истории цензуры заключительных стихов поэмы взяты из журнала заседаний СПб. цензурного комитета от 12/X 1837 г. (ИЛИ № 51. IV. II. 22); материалы о переделке „Братьев-разбойников“ в драму — из архива Главного управления по делам печати (Арх. внутр. пол.).

Настоящая работа в сжатом виде доложена на 22-м научном заседании пушкинской комиссии Академии наук СССР 21 июня 1935 г. и на заседании Ленинградского пушкинского общества 21 декабря 1935 г. (см. „Отчет о работе пушкинского общества“, Лг. 1936, стр. 4); информация о работе сделана на заседании факультета языка и литературы Лен. гос. пед. ин-та им. Герцена 10 октября 1935 г. и редакции академического издания Пушкина 26 апреля 1936 г.

В отрывках работа опубликована: в „Ученых записках Лен. гос. пед. ин-та им. Герцена“ (факультет языка и литературы, т. II, вып. 1, 1936, стр. 213—239), в журнале „Резец“ („Разбойничий“ фольклор в „Братьях-разбойниках“ Пушкина) за 1936 г. № 22, в журнале „Красная новь“ (1936 г. № 6).

Диссертация подверглась обсуждению в открытом заседании квалификационной комиссии Ленинградского педагогического института им. Герцена под председательством доктора литературоведения проф. В. А. Десницкого при официальных оппонентах проф. Н. П. Андрееве и проф. С. А. Адрианове (см. отчет в сб. „Пушкин“. Временник пушкинской комиссии Академии наук СССР, т. II, стр. 473—475), согласно замечаниям которых в работу (значительно к печати сокращенную) внесены некоторые изменения.

Автор считает своим долгом выразить благодарность В. А. Десниц-

кому, Н. П. Андрееву и Д. П. Якубовичу за ряд советов и А. Л. Дымшицу за дружескую помощь и содействие.

В настоящем сборнике печатается часть диссертации (центральные главы в несколько сокращенном виде).

I

5 мая 1820 г. по белорусскому тракту выехал Пушкин в места своей ссылки. До этого времени он никогда не был на юге России, и, вполне понятно, незнакомый ему край обещал впереди много нового, неизведанного, интересного, много такого, чего поэт никогда не увидел бы в Петербурге, в Москве, и что должно было произвести на него большое впечатление.

В литературе о Пушкине достаточно говорено было о „величественных“ кавказских горах, „прелестных“ новороссийских степях, „диких“ цыганских таборах и т. д. и т. п. Все это, конечно, поразило поэтическое воображение Пушкина, о чем он мог писать брату и друзьям.

Однако в новых местах Пушкин видел многое, кроме „величественных“ гор и „прелестных“ степей, многое такое, о чем он не мог безнаказанно для себя писать, что осторожные его приятели скромно называли „екатеринославской мечтой о свободе“, что могло оставлять документальные материалы только в наглухо прошитых перекрестным швом и запечатанных пятью печатями пакетах со строгой надписью „секретно“, адресованных Ланжерону, Инзову, Воронцову, Шемиоту, что, несомненно нашло свое отражение в бумагах Пушкина, сожженных им после получения известия о восстании декабристов, и что не могло не отразиться в его творчестве.

Новороссия не была похожа на Москву и Петербург. Там были свои законы, выработались своеобразные отношения между дворянами и пришлым крестьянством.

Своеобразие Новороссии объяснялось характером заселения нового края, имевшего свою любопытную историю.¹

После присоединения в конце XVIII в. Новороссии к России туда начался массовый приток искателей легкой наживы: разорившихся дворян, французских эмигрантов, чиновников, военных. Правительство должно было укрепить огромную территорию края и с удовольствием награждало этих кондотьеров крупными участками земли — в среднем четыре тысячи десятин на душу.² Конечно, при таких условиях Новороссия должна была казаться сказочным Эльдorado для всех этих поручиков в отставке, регистраторов, советников, архивариусов и просто темных дельцов.

После приглашений Ришелье в Новороссию устремились десятки ловких предпринимателей - иностранцев: швейцарцы Пиктот-де-Рошмон и Ревелио, немцы Миллер и Шелемберг, французы Сен-При, Кобле,

¹ См. „Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. Составлено Аполлон м Скальковским, коллежским асессором, кандидатом прав, членом Общества сельского хозяйства Южной России“, Одесса, 1836.

² Д. И. Багалей, Колонизация Новороссийского края и первые шаги его на пути культуры („Киевская старина“ 1889, т. XXV, 479).

Д'Эпине, Дофине, Рувье, голландцы, англичане, австрийцы и шведы.¹ Не отставали и русские: начиная от крупных вельмож, вроде князя Волконского, и кончая безвестными штабс-капитанами в отставке, какими-нибудь Шостаком и Кирояковым, они сотнями ринулись в Новороссию, надеясь на легкие доходы и капиталы.

С другой стороны, неудержимым потоком в Новороссию хлынули крестьяне — крепостные, надеявшиеся, что там они найдут свободную жизнь и независимость от помещиков. Первое время правительство, из военно-стратегических соображений, смотрело на это сквозь пальцы; оно негласно как бы санкционировало здесь право убежища („droit d'asile“), о чем свидетельствует, например, секретное письмо графа Зубова, адресованное екатеринославскому наместнику Хорвату.²

Беглые крестьяне — русские, украинцы, бывшие запорожцы, однодворцы, донские казаки, евреи, которых правительство имело в виду сосредоточить в Екатеринославской губернии, солдаты-дезертиры, раскольники, дьячки, провинившиеся матросы — вся эта масса должна была составить население Новороссии, призванное преумножать капиталы буржуа-иностранцев и подражавших им русских дворян, заводивших фабрики, рыбные артели, скотоводческие фермы и т. п.

Однако интересы капиталистов-иностранцев и русских дворян-предпринимателей, прожигающих легко нажитые капиталы в европеизированных портовых городах, вступали все в более и более резкие противоречия с интересами огромной массы поселившегося в Новороссии крестьянства, которое думало найти в новых местах свободу, а попало в тиски такого же, если не более жестокого, угнетения со стороны помещиков-дельцов, от какого эта масса бежала.

Учреждение 22 марта 1818 г. главного управления колонистами южного края (возглавившегося ген.-лейтенантом И. Н. Инзовым, в распоряжение которого в 1820 г. был направлен Пушкин), имевшее своей целью регулирование потока переселенцев, организацию борьбы с побегами из России и Украины, возвращение беглых и „попечение“ о делах закрепленных по Новороссии переселенцев, привело к тому, что не желающие „закрепляться“ (вернее — закрепощаться) крестьяне массой хлынули в Бессарабию.

Весной 1820 г., как раз ко времени приезда Пушкина, в Екатеринославской губернии, благодаря необычному разливу Днепра, было большое наводнение: „Екатеринослав, Бахмут, Павлоград, Новомосковск и много других городов и сел были почти совершенно затоплены“, пишет Скальковский;³ наводнение и неурожай, начавшиеся в 1820 г. в Новороссии, систематические попытки русских и украинских помещиков вернуть беглецов, организация специальных отрядов для поимки беглых и безудержный произвол новых господ — фабрикантов и капитализирующихся дворян Новороссии — привели в 1820 г. к первой кровавой траге-

¹ Скальковский, II, 176.

² См. Владимиров, 1-е столетие Екатеринослава, Ек-ф 1887; Егоров, Екатеринославское блукание, Ек-в, 1887; Корольков, Столетний юбилей Екатеринослава, Ек-в, 1887.

³ Назв. соч., II, 290.

дии, свидетелем которой оказался и Пушкин, живший в мае 1820 г. в Екатеринославе.¹

6 апреля 1820 г. помещик Варваций, имение которого находилось около Ростова, донес командиру Симбирского пехотного полка подковнику Рындиному о том, что его крестьяне в слободе Лакедемоновке, „отыскав вольность, вышли совершенно из повиновения“, и что для ликвидации бунта требуются войска; в этот же день испуганный Рындиной дал предписание командиру роты капитану Родионову немедленно отправиться в Лакедемоновку с ротой солдат и „взять бунтовщиков“; 7 апреля Родионов был уже на месте, но его карательная экспедиция закончилась неудачно: 8 апреля он рапортовал полковнику Рындиному о том, что крестьяне „бросились на цепь из целой роты, пробились усиленным образом сквозь оную и ушли“. Бунт с быстротой пожара перенесся не только в соседние помещичьи деревни и хутора (о чем 9 апреля таганрогский градоначальник генерал-майор Панков доносил управляющему министерством внутренних дел), но в течение 8—10 дней охватил несколько уездов соседней Екатеринославской губернии. 23 апреля исполняющий обязанности екатеринославского гражданского губернатора Шемиот доводил до сведения министерства внутренних дел, что крестьяне бунтуют, что справиться с ними без помощи сильного войска нельзя было, что даже „женщины кричали, повергая младенцев на землю, что готовы всем жертвовать к отысканию вольности“. В начале мая восстание крестьян приняло уже совсем неожиданные размеры и напоминало Александру I о Пугачеве. Как правительство ни старалось уладить конфликт „мирным“ путем (т. е. схватить всех зачинщиков бунта и этим привести в повиновение массу), все попытки оканчивались неудачей, и в середине мая генерал-адъютант Чернышев получил секретное предписание о безоговорочной и беспощадной ликвидации бунта. В то время как Чернышев с казаками и гусарами оперировал в области Войска Донского, а Шемиот с солдатами 1-й пехотной дивизии генерала Лисаневича в Бахмутском и Славяносербском уездах Екатеринославской губернии, Пушкин прибыл в Екатеринославе. Вокруг самого Екатеринослава начали „оказывать неповиновение“ крестьяне помещиков: Раевского, Шавича, Павлова, Кондракова, Андреева, Яновича, Ефремова, Миоковича, Голенищева, Бирьера, Копенгаузена, Пушкина, Вулича, Драгитеева, Порича, Сабовых, Бунаева, Вершлева, Теплова, Беклемишева, Волинцева, Верещагиных, Дебальцева, Булацеля, Голубя, Шахова, Протопопова, Фирсова, Шидловского и др.— выше пятидесяти деревень. Никого из губернского начальства кроме Инзова в Екатеринославе не было, так как перепуганный Шемиот всех угнал на „уговариванье“, и Пушкин был предоставлен самому себе.

Следует отметить, что, несмотря на широкую, прекрасно организованную связь между отдельными деревнями и даже уездами, крестьяне с самого начала восстания и почти до его ликвидации заняли подчеркнуто *оборонительные* позиции, отсиживаясь по своим избам и высы-

¹ Все материалы о восстании; крестьян Екатер. губ. и обл. Войска Донского извлечены нами из Архива б. департамента полиции исполн. м. в. дел, хранящегося в ЛОЦИА, и взяты из огромного дела № 45 „О возмущении крестьян кол. сов. Варвация и др. владельцев Екатер. губ. и Войска Донского“. (Начато 29 апр. 1820 г., закончено 21 дек. 1820 г.)

лая только отдельных представителей на специальные совещания. Доносивший в Петербург о ходе бунта таганрогский градоначальник Папков писал о том, что крестьяне оставили помещичьи работы, собрались в село Ряженое, в которое „сверх крестьян ряженского помещика Коваленского съезжаются таковые же и из других соседственных помещичьих владений, где, соединяясь со скопищем возмутителей, имеют совещания, разъезжаются и опять съезжаются“; только с приходом в села отдельных военных отрядов крестьяне оказывали сопротивление, вырывали у солдат ружья, целой массой, с женщинами и детьми, бросались на офицеров и вынуждали их к отступлению. Конечно, были и отдельные попытки расправы с помещиками; так, например, Шемиот доносил в начале июня министру внутренних дел графу Кочубею о росте бунта и извещал о попытках крестьян вооружиться: „Прислан мне по эстафете рапорт от бахмутского земского исправника, последовавший по объявлению тамошнего помещика подполковника Протопопова о вышедшем против него неповиновении и совершенном буйстве крестьян его, кои, оставя жен своих, вооружили себя дубинами, от чего он, Протопопов, находится в великой опасности“. Но в целом методы борьбы бунтующих крестьян сводились к полному оставлению работы на помещичьих полях, требованию „воли“ и отдельным, по мере необходимости, сопротивлениям военным отрядам, имевшим задание взять зачинщиков.

Пушкин с Раевскими (которых, между прочим, все время сопровождал постоянно сменяющийся „почетный“ конвой, охранявший знаменитого генерала) оставил Екатеринослав в то время, когда крестьянский бунт подходил к своему кульминационному пункту. Уже 14 июня 1820 г., спустя несколько дней после отъезда Пушкина и Раевских на Кубань (как известно, Пушкин покинул Екатеринослав в последних числах мая), Шемиот писал в Петербург, что „отложились от повиновения помещикам“ многие деревни, и что „сверх сих готовятся еще и прочие селения к таковому возмущению, имея непрерывную связь с крестьянами, живущими на землях Донских“, что „возмущение достигло самой высшей степени, так что уже не сотнями, но многими тысячами в смежных слободах Бахмутского и Ростовского уездов собираются возмутители, избирают своих начальников, твердо постановив не повиноваться никаким усилиям и увещаниям, а упорно стоять, чтобы быть в полной свободе“.

13 июня граф Кочубей приказывал Шемиоту употребить все усилия для немедленной ликвидации восстания в земле Войска Донского, но было уже поздно, так как бунтом была охвачена третья часть Екатеринославской губернии. В десятых числах июня командир третьей гусарской дивизии генерал-майор князь Вадбольский отправил в распоряжение Шемиота четыре эскадрона Мариупольского гусарского полка под командой князя Багратиона и крупный отряд казаков. Командующий карательной экспедицией Чернышев с артиллерией и войском находился, во время пребывания Пушкина в Екатеринославе, в 70-ти верстах от Бахмута „для укрощения бунтующихся, скопившихся там до 5000 человек“.

Наконец, 19 июня 1820 г. Александр I послал именной указ Чернышеву о переброске войск из земли Войска Донского в Екатерино-

славскую губернию: „Я поручаю вам, — писал царь, — отрядив нужное число регулярного войска из находящегося в распоряжении вашем и казакс к местам, в коих неповиновение крестьян, отправиться самим для получения всех сведений... Возложив пред сим на вас водворить спокойствие между крестьян, на землях Войска Донского поселенных, произведенное уже вами с успехом, я признал ныне за благо, как по близости места пребывания вашего, так и по особенной моей к вам доверенности, представить попечению вашему и восстановление должного порядка в Екатеринославской губернии“.

К этому времени Чернышев распространил и по Екатеринославской губернии свой указ, адресованный крестьянам Войска Донского 2 июня 1820 г, в котором предупреждал „бунтовщиков“: „грамады ваши, представляющиеся в понятии вашем столь значащими, напротив того, в существе своем совершенно ничтожны и... довольно одного примера, чтоб рассыпать их и открыть всех виновных; а потому и помните, что во всяком случае каждый должен отвечать собственно за себя“; „миловидный“ граф предостерегал крестьян от „нелепых разглашений и кривых толков, кои рассеивают люди праздные и злонамеренные“, указывал на „простоту“ и „легковерие“ крестьян, „неспособных видеть ни тонкостей обмана, ни пагубных следствий безначалия“; думая подавить психологию крестьян своим высоким государственным чином и обилием орденов, кои самодовольно перечислены графом, он ставил ультиматум о „немедленном покорении *власти закона* и помещиков“ и заканчивал указ очень многозначительно: „Последуйте, пока есть еще время, примеру сих совратившихся с пути истинного, но очистивших преступление свое раскаянием, и *не сетуйте на меня, когда упрямство ваше вынудит прибегнуть к средствам строгого правосудия, которые вверены мне его императорским величеством для собственной вашей пользы и спасения*“.

Но почти одновременно с указом Чернышева, известным в нескольких селах по рукописи, предводитель крестьянского бунта, крепостной генеральши Иловайской Николай Колесников, от имени крестьян слободы Иловайской, не подписывая письма сам, обратился с письмом к „почетным старикам“ „всех обществ“ и „прочих слобод“, в котором призывал не верить Чернышеву и стоять на своем. Копия этого письма сохранилась в деле № 45, и мы приводим его полностью, соблюдая стиль и орфографию подлинника:

„Господа Старики просим всепокорнейше в том что мы наслышали действительно что читанной указ от Генерала Чернышева и скушение которое может быть вам известно что будь то бы какое решение вашего (одно слово неразб. В. З.) Слободы Орловой Городищенской и прочим пишет что я не привез вам Добра но великого Зла как будь то бы нам писали о прозбе ложное показание и так пишет что выдайте начинщиков которые вами возмущают вы на сие не уповайте буде вам требование начинщиков то просим вас всепокорнейше стоять всем за Едино иминно ни под каким ведомом не показать начинщиков и стоять всем во одно как будут говорить кто начал а вам отвечать все за Едино а как скоро выдайте начинщиков то будут краине и остальные останутся вечно заключены Господскими покудова служить Помещикам оставим Белой Свет пойдем в Землю преть от чего Боже сохрани погибнем

да не все остальные может быть останутся и будут закопаны вечно Богомольцы Господа Состоите как невозможно то тогда мы все Будем наваше стоять ваше доброжелатели Старики Иван Шаповалов Борис Шевченко Максим Шило и все общество итакo подписало покорной слу Григории Бондарев Маиа 31 дня 1820 года от общества известие господа Старики просым вас все обще неслушайте как будь то бы нас были пушками и Кнутом наказывали посему несправедливость ов нас все благополучно а сему правда что Полх стоит и Антилерия ожидает Чернышева для решительного дела с тем иуведомляет вас все общество“.

Крестьяне не слушали чернышевских увещаний, оказывали сопротивление мелким военным отрядам, перебежали из одной деревни в другую, прятали тех, кого разыскивали как зачинщиков, и расширяли сферу волнений. Это заставило Александра не на шутку перепугаться, ибо призрак страшного Пугачева становился реальнее; на рассвете 26 июня фельдъегерь Федоров, сломя голову, поскакал из Петергофа в Новороссию, везя в сумке новый категорический указ царя Чернышеву: немедленно привести в боевую готовность все донское казачье войско и все регулярные полки гвардии и армии, находившиеся в Новороссии, и двинуть их против бунтовщиков. Но Чернышев не стал ждать лишнего напоминаний; он действовал настолько энергично, настолько успешно „угovarивал“ (кнuтом, клеймением, каторгой и т. п.) крестьян, что с 20-х чисел июня линия бунта быстро пошла на-нет. Отсутствие руководства у крестьян, обычные предательства и несогласованность действий привели к тому, что почти в один день с императорским указом атаман Войска Донского генерал-лейтенант Орлов-Денисов писал графу Кочубею, что Чернышев успешно ликвидирует бунт, а 2 июля 1820 года таганрогский градоначальник Папков уверял министерство внутренних дел, что скоро „общее спокойствие, благодаря богу, восстановится без дальнейших неприятных последствий“. Крестьяне зачинщики частью были выданы своими же односельчанами, частью (еще в весны 1820 г.) бежали в степи и занялись разбоями. На это указывали спустя несколько лет крепостные екатеринославского помещика ротмистра Шабельского, которые на допросе (по другому делу) уверяли, что беглые в степях имеют у себя ружья, пистолеты и пики и что они „занимаются разбоями и ходят завсегда вооруженные“.¹

15 июля 1820 года временная комиссия, учрежденная Чернышевым, вынесла свое решение по делу о зачинщиках бунта в Новороссии: главный вожак, „возмутитель из всех главарей“, „дерзновеннейший“ Николай Колесников, крепостной крестьянин генеральши Иловайской, был приговорен к „нещадному сеченью кнuтом, постановлению на лицо штемпельных знаков и вечной ссылке в Нерчинск, в каторжную работу“; другие главари: Дмитрий Мищенко, Влас Резниченко, Аким Балясников, Пантелей Марченко — „предводители возмущения и бунта“ — „к сеченью кнuтом, постановлению штемпельных знаков и вечной ссылке в Нерчинск“ (из всех руководителей новороссийского восстания только один Тимофей Гречка бежал); девятнадцать „ревностнейших

¹ Ф. Щербина, Беглые крепостные в Черноморье. „Киевская старина“ 1883, VI, 245).

товарищей главных предводителей" — „к наказанию плетью и ссылке в Сибирь на поселение“, свыше двухсот человек второстепенных зачинщиков — к сечению плетью, розгами, ссылке и т. п. Так закончилась трехмесячная борьба новороссийских крестьян с помещиками, борьба, живым свидетелем которой был Пушкин во время своего двухнедельного пребывания в Екатеринославе. Пройти мимо факта борьбы он не мог, так как о бунте говорили не только на юге, но и в Петербурге. Всем губернаторам центральных губерний и окраин был разослан циркуляр министерства внутренних дел о строжайшем отношении к побегам крестьян, о регулировании переселений и т. п. (циркуляр с поправками Кочубея сохранился в деле № 45 архива полиции), и уже через несколько дней после рассылки циркуляра, 4 августа 1820 года, Александр Тургенев писал П. А. Вяземскому (из Петербурга в Варшаву): „сообщил ли я тебе циркуляр губернаторам графа Кочубея по случаю екатеринославской мечты о свободе?“¹ а через неделю сообщал опять: „хотел бы поговорить с тобою о подвигах Чернышева по возмущении“; Вяземский в ответном письме настаивал на быстрейшей присылке циркуляра („сделай милость пришли циркуляр губернаторам и все тому подобное“) ² и писал Тургеневу: „Чернышев постарел, похудел и пожелтел чрезвычайно... Я еще ничего не знаю о его подвигах и о возмущении“.³

Пушкин также заинтересовался бунтовщиками; этот интерес воплощен был в нескольких заметках и поэтических набросках Пушкина, о которых речь будет ниже.

II

Выехав в конце мая 1820 г. из Екатеринослава с Раевскими, Пушкин посетил Кавказ и Крым и 21 сентября был уже в Кишиневе.

Что представляла собой Бессарабия пушкинского времени? Это вопрос очень важный, но не разработанный, и на отдельных моментах его следует остановиться подробнее, так как выяснение бессарабской обстановки внесет значительную ясность и в вопрос о генезисе „Братьев-разбойников“.

Находясь с XV в. под властью Турции и будучи отдалена от Константинополя, Бессарабия издавна была пристанищем для русских беглых крепостных, скрывавшихся от помещиков и розысков правительства. В Бессарабии находили убежище и сравнительно более свободную жизнь беглые крестьяне, солдаты - дезертиры, сектанты, казаки, евреи и все те, кого преследовала власть дворянства; в Бессарабию бежали угнетенные не только из России, но и из Молдавии, Валахии, Польши, Украины и азиатских колоний Российской империи. Обильные густые леса (Хотинская область и Буковина), нехоженные буджакские степи, спускающиеся к Черноморью и оканчивающиеся непроходимыми плавнями Днестра, Дуная и Прута, давали беглым полную возможность укрыться от погони. Еще задолго до пребывания Пушкина в Кишиневе, в 1802—1803 гг., когда Бессарабия была турецкой провинцией, русский

¹ Ост. арх. князей Вяземских, т. II, 45.

² Ост. арх., II, 47.

³ Ост. арх., II, 49.

генеральный консул в Яссах, известный „либералист“ В. Малиновский (впоследствии директор Царскосельского лицея) в своей „Записке об освобождении рабов“, присланной графу Кочубею, одним из главных доводов в пользу освобождения крестьян делает замечание об огромном количестве беглых русских крепостных в Бессарабии: „Препроводив в отечество более трех тысяч человек беглых, большей частью помещичьих крестьян, я испытал каждого о причинах бегства и нашел оные общими и с состоянием рабства в России неразлучными, как то: тягостные работы сверх определенного числа дней, большие оброки, недостатки угодьев, побои и др. самовольные поступки помещиков и приказчики“;¹ 1 августа 1811 г. товарищ министра внутренних дел О. Козодавлев писал Балашеву о том, что „крестьяне Подольской губернии, а наипаче помещичьи целыми семействами бегут в новоприсоединенные к России области: Молдавию и Валахию“;² в апробованном Александром журнале комитета министров, хранящемся при деле 322 архива полиции, указано, что в короткое время крестьян ушло в Бессарабию „несколько тысяч душ и от такового' уменьшения народа — хлебопашество приходит в упадок, а помещики разоряются“. Помещики требовали от правительства решительных мер по возврату беглых к их владельцам, но у Александра, готовившегося к решительной войне с Францией, были относительно Бессарабии особые политические планы, которые не позволяли предпринять что-либо определенное по изъятию беглых. Комитет министров ограничился только тем, что предложил управляющему в Галиции сенатору Тейльсу и председательствующему в диванах Молдавии и Валахии тайному советнику Красно-Милашевичу не допускать приема беглых местными жителями; изъятие же их решено было отложить „до окончания военных обстоятельств“. Любопытный ответ был прислан в комитет министров и Тейльсом, и Красно-Милашевичем: Тейльс писал, что если позволить русским помещикам „забирать что кто может, гвалтом“, то произойдут крупные политические осложнения и на население Бессарабии нельзя будет опереться.

16 мая 1812 г., согласно бухарестскому договору с Турцией, Бессарабия была присоединена к России и оккупирована русскими войсками. Александровское правительство получило в Бессарабии 1 714 097 десятин земли.³

Бессарабия не напрасно оценивалась дворянами как „драгоценный алмаз в короне царской“: лесные массивы, десятки огромных (в 30—40 верст в окружности) соляных озер, часто соединенных между собой, изобилующих рыбой лиманов, впадающих в Прут, свыше десятка таких же

¹ Записка сохранилась в б. архиве министерства госуд. имений и приведена В. И. Семевским в его книге „Крестьянский вопрос в России“, т. I, СПб., 1883, 430—431.

² Все материалы взяты из дела 322 „О крестьянах, зашедших в Бессарабию из рос. губерний, и о бродяжничестве беглых в пограничных губерниях“ (архив департам. полиции МВД — ЛОЦИА).

³ „Статистическое описание Бессарабии, собственно так называемой, или Буджака, с приложением генерального плана сего края, составленное при гражданской съемке Бессарабии, производившейся по высочайшему повелению с 1822 по 1828 г.“ Аккерман, 1899.

озер и лиманов, впадающих в Дунай, винные заводы и т. п. делали ее поистине богатейшим краем.¹

Бессарабские бояре получили от царя огромное количество земли „в подарок“: *около четверти миллиона десятин только в одной приднестровской полосе. Больше 100 000 десятин* в Аккерманском уезде получили пушкинские знакомые по Кишиневу: Катакази, Крупенские, Варфоломей, Стамо и др.²

Бегство русских крепостных в Бессарабию после ее присоединения к России не прекратилось, но императорские наместники в Бессарабии неохотно принимали заявления южных помещиков о возврате беглецов, так как это порождало конфликт с населением и вело к нежелательным эксцессам.³

В июне 1814 г. подольский губернский маршал Грохольский писал Петербургскому главнокомандующему Вязьмитинову: „Многие из крестьян здешней губернии делают побег в край молдавский; причиною тому — что жители тамошнего края бежавших отсель людей передерживают, к побегам поощряют и разных противузаконных употребляют способов для утайки сих беглецов, переменяя им имена и прозвания на свойственные тамошнему краю и даже ложные свидетельства представляя... *Можно наверно полагать, что здешний край, прежде изобильный и населенный, со временем останется пустой, помещики потеряют свои имущества, а казна свой доход*“ (лист 93). В том же 1814 г. об угрожающем положении гвердил Вязьмитинову и исправляющий должность херсонского гражданского губернатора Калагеоргий: „*Сие зловерное бродяжество наконец достигло высочайшей степени, или, лучше сказать, сделалось почти всеобщим... Бежат херсонские крестьяне во множестве, и даже те, которые для предосторожности от заразы расставляемы были на караулах, по Днестру устроенных*“ (лл. 33—36).

В 1815 г. новороссийский генерал-губернатор герцог Ришелье и подольский — Сен-При буквально осаждали управляющего Бессарабией Гартинга письмами о возвращении беглых, и тот наконец, по распоряжению из Петербурга, отдал строжайший указ об организованном отпоре попыткам крестьян селиться в Бессарабии, угрожая укрывателям беглых отдачей под суд, но ничего не помогло.

В 1815 г. упомянутый выше Калагеоргий, после блестящего провала одного из своих проектов о местной страже, бежавшей вместе с беглыми, признался в письме министру внутренних дел в полном своем бессилии: вопреки всему „люди, привыкшие к бродяжничеству, принимаются и передерживаются, а в *необитаемых здешних пространных степях собираются из них целые скопища воров и разбойников*“ (л. 71). Осенью 1815 г. Калагеоргий извещал Вязьмитинова, что „*побег крестьян в Ольгопольском и Балтском уездах Подольской*

¹ См П. Свиньин, Естественное описание Бессарабской области („Отечественные записки“ 1818, ч. 1).

² См. генеральный план Бессарабии по съемкам 1819 г., приложенный к „Статистическому описанию“.

³ Дело 322 „О крестьянах, зашедших в Бессарабию“ (ЛОЦИА). На соответствующие листы этого дела я ссылаюсь ниже в тексте.

губернии произошел до третьей части“ (л. 90). „Бродяги часто скрывались при овечьих ватагах“ (л. 93), отряды из казаков и помещичьих сыщиков были бессильны, ибо „крестьяне казенных и помещичьих селений, от неудовольствия к сим узнавателям бродяг, не токмо не хотят продавать им жизненных припасов и корму для скота, но и самих к обогрению в дома свои не пускают“ (л. 103).

С 7 июля 1816 г. богатейший киевский помещик, тайный советник и губернский маршал граф Северин-Потоцкий начал переписку о беглых с департаментом полиции.

Недовольный безразличным, как ему казалось, отношением полиции к такому важному вопросу, он пишет Вязьмитинову холодное официальное письмо, в котором как киевский губернский маршал категорически требует „довести до сведения его императорского величества“ „о беспорядках и, так сказать, гвалтах“ и удостоверяет, что *из одной только Киевской губернии бежало пятьдесят тысяч крестьян* (л. 161). Вязьмитинов обратился в комитет министров, и 9 декабря 1816 г. вопрос о бежавших в Бессарабию крестьянах был поставлен на обсуждение комитета. В постановлении было отмечено громадное количество беглецов, указывалось, что беглые в Бессарабии разбойничают, „грабят разное имущество“, скрываются от суда, что все посланные помещиками агенты „возвратились с избитыми и ограбленными людьми“ и „отказались от дальнейшего отыскания беглых в Бессарабии“, куда „никто другой отправиться за сим не соглашается“. *„Крестьяне же, — резюмировал комитет, — услышав о таковой надежной защите беглых их собратий в Бессарабии, еще более усугубили побегов свои в оную, от чего помещики терпят расстройство, угрожающее им совершенным разорением“* (лл. 162—167).

Русские крепостные крестьяне, бежавшие в Бессарабию и надеявшиеся найти там свободную жизнь, только первые пять-шесть лет жили несколько свободнее, чем в России; первые три года после Бухарестского договора они пользовались наравне с царянами льготами, а с 1815 г. начали платить подати по старым молдавским законам, чрезвычайно жестоким.¹

В деле № 332 архива бессарабского губернатора, хранящегося в ЛОЦИА, имеется письмо министра внутренних дел графа Кочубея к Инзову, в котором он предлагает наместнику немедленно расследовать причины массового бегства бессарабских крестьян за границу. В октябре 1822 г. Инзов, желая успокоить царя, писал о том, что в Турцию и Австрию убегают только люди „преступные“, что истинные подданные — на месте, и что он, как наместник, послал всем русским консулам в пограничных городах требование, по которому консульства возвращают всех русских беглецов.

Но, кроме побегов за границу как формы социального протеста, крестьяне Бессарабии протестовали против крайне жестоких форм угнетения гораздо более действенным образом; они по-своему реагировали на общее стремление румынских бояр и русских помещиков выжать

¹ См. Н. К. Могилянский, Материалы для географии и статистики Бессарабии, Кишинев, 1913. См. также „Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Моск. университете“, 1875, кн. 1, 148—152.

из „низшего класса жителей“ высшую прибыль. В силу своей крайней разобщенности и пестроты они не могли соединиться для отпора помещикам („весь этот сброд связывали лишь одинаковые бездомность и нищета“, деликатно замечает один из официозных русских историков А. Клаус, написавший целое исследование по колонизации Бессарабии)¹ и воплотили свой протест в целом море разбоев, свирепствовавших в Бессарабии свыше тридцати лет.²

В „Киевской старине“³ в свое время был помещен очень любопытный очерк члена Румынского географического общества Лупулеску (Loupouleskou) „Русские колонии в Добрудже“, в котором он подробно анализировал состояние Бессарабии александровской эпохи и писал по вопросу о возникновении массовых разбоев в Бессарабии: после 1816 г. „Бессарабия признается одним из главных мест, где свирепствуют разбои“, которые заканчиваются только в 40-х годах. Это подтверждает и австрийский консул Вискович (Viscovich), собравший в своей интересной работе „Zur Statistik der Dobrudscha“⁴ ряд материалов, подтверждающих указания Лупулеску.

Невоенные русским правительством буджакские степи, граница с австрийской Буковиной, очень удобная для перехода, южная граница с Молдавией, позволяющая укрыться от преследований в любое время дня и ночи, топи и болотистые места по берегу Прута, заросшие непроходимым камышом по всему пространству, берег Дуная с такими же зарослями, хотинские леса, так называемые „нейтральные“ острова у Измаила — позволяли прекрасно знающим местность разбойникам почти безнаказанно совершать свои подвиги и скрываться от полиции.⁵

Многочисленные разбойничьи отряды, грабившие по дорогам богатых купцов и делавшие налеты на помещичьи имения, смело переходили границу и оперировали не только в Бессарабии, но и на юге России. Об этом свидетельствует, например, Алексей Мартос, офицер русского оккупационного корпуса, в своей статье „Некоторые военные замечания о Бессарабии“.⁶

Много интересного по данному вопросу имеется в воспоминаниях Ф. Ф. Вигеля. Так, подробно рассказывая о своем пребывании (по до-

1 А. Клаус, Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России, СПб., 1869, вып. I.

2 Комитет по делам искусств при СНК СССР в своем недавнем решении совершенно правильно осудил антиисторическое толкование образа разбойника докрепостнической Руси в пьесе Д. Бедного „Богатыри“. Революционизировать разбойников эпохи распространения на Руси христианства — вредная „теория“ отказа от исторически правильного изучения развития Руси. Однако мы не должны забывать того, что в эпоху крепостничества дворянские историки именовали „разбойниками“ даже Разина и Пугачева, что волжская „понизовая вольница“ рассматривалась ими не более как „скопище воров и злодеев“. Социальный смысл массовых разбоев в самодержавно-крепостнической Руси имеет совершенно иной характер, чем в древней Руси, уже благодаря традиции разинско-пугачевского движения, во-первых, и благодаря тому, что действия крестьян-повстанцев, сжигающих дворянские поместья, тоже квалифицировались историками как „разбой“.

3 „Киевская старина“ 1889 г., т. XXIV.

4 Журнал „Austria“, 1863.

5 См. „Записки Бессарабского статистического комитета“, т. III, Кишинев, 1863

6 „Отечественные записки“, 1816, № 38—39.

роге из России в Бессарабию в 1823 г.) у курского губернатора Кожухова, Вигель, маршрут которого дальше шел через Льгов, Рыльский и Глухов, вспоминает, что Кожухов отговаривал его от ночной поездки.¹

Операции разбойничьих отрядов особенно усилились после поражения Ипсиланти под Скулянами 29 июня 1821 г., когда в мелкие, из пяти-десяти человек, крестьянские отряды влились „разноплеменные всадники“: арнауты, цыганы, греки и др., снабдившие разбойников — крепостных оружием военного образца и превратившие мелкие шайки в отряды, сила которых заставила Александра принять ряд экстраординарных мер. Но прекрасно знающие местность разбойники ускользали от карательных экспедиций, составленных из стражников — „каларашей“ (которые зачастую сами были связаны с разбойниками). Дело дошло до того, что без усиленного конвоя даже военные перестали ездить из одного пункта в другой. Это подтверждается рядом фактов; так, Вигель упоминает, что „разноплеменные всадники“ после поражения „рассеялись по Бессарабии; некоторые из них поступили в услужение к боярам, многие же стали отдельно грабить по дорогам, были схвачены и населили острог; другие же пристали к большой разбойничьей шайке, которая распространяла страх до самых окрестностей Кишинева“.²

Полицейскую службу до 1824 г. в Бессарабии несла земская стража, так называемые калараша, набранные из местных жителей молдаван; но они, вооруженные пиками и саблями, побаивались встречаться лицом к лицу с разбойниками, относились к своим обязанностям формально, предпочитая отделяться обещаниями о поимке разбойников. К 1824 г. для правительства стало очевидным, что калараша не справятся с ликвидацией разбойничьих шайк; на бессарабские разбои обратил внимание Александр I. 5 февраля 1824 г., по поручению Александра, Аракчеев писал министру внутренних дел Ланскому:

„Милостивый государь мой Василий Сергеевич. Государь император, усмотрев из ведомости о главнейших происшествиях с 17 по 24 сего января, о многих разбоях, происшедших в Бессарабской области... повелел мне сообщить вашему превосходительству, дабы вы объявили полномочному наместнику Бессарабской области генерал-адъютанту графу Воронцову высочайшую его величества волю, чтоб он старался непременно разбои сии прекратить“ (ЛОЦИА).

В архиве министерства внутренних дел (ЛОЦИА) сохранилось дело № 314 за 1824 г. „О высочайшем повелении стараться прекратить разбои в Бессарабии“, в котором, помимо только что упомянутого письма Аракчеева Ланскому, имеются письма Воронцова в Петербург, рапорты из Бессарабии и пр. Воронцов прекрасно видел, что без коренной реорганизации бессарабской полиции разбои в Бессарабии не удастся ликвидировать, но все же послал Ланскому успокоительное письмо.³

¹ Ф. Ф. Вигель, Воспоминания, М., 1865, ч. V, 67—68.

² Вигель, Воспоминания, ч. VI, 131.

³ Успокоение Воронцова в действительности не имело под собой никакой почвы; „истребление разбоев и грабежей в Бессарабии“ и „восстановление совершенного устройства и тишины“ отодвинулось по крайней мере лет на пятнадцать. В ЛОЦИА в б. архиве департамента полиции сохранилось дело — № 459 — „По отношению канцелярии министра внутренних дел — о разбоях“

Обещание Воронцова прислать в Петербург проект реорганизации бессарабской земской стражи было им выполнено в течение трех дней. В деле № 396 „Об определении земских исправников и заседателей в Бессарабии от короны“ (ЛОЦИА) имеется этот проект, которым Воронцов прямо дает понять, что калараши „покровительствовали сами разбойникам и грабителям“, что их связь с „преступниками“ была причиной разбоев и грабежей. Проект Воронцова в том же 1824 г. был утвержден Александром. „Калараши“ были заменены земскими исправниками, утверждать которых должен был лично Воронцов, но разбой после этой реорганизации не прекратились.¹

Среди бессарабских разбойников во времена Пушкина были замечательные фигуры, о которых потом народ сложил песни, сделав их героями, защитниками бедных. Самыми популярными и героичными в этих песнях рисуются знаменитые Кодрян, Урсул, Кирджали, Тобольток. Урсул и Тобольток оперировали в Бессарабии с самого начала 20-х годов. О Тобольтоке немецкий путешественник Коль, который был в Бессарабии в 30-х годах, говорит следующее: „В лесах свирепствовал со своей шайкой Тобольток. Этот ужасный человек несколько лет подряд, говорят 12 лет, провел в различных способах разбоя, краже и грабежах. Он имел хорошо организованную шайку, которая по временам возрастала до 200 душ и злодеяния которой, при тогдашней малокультурности страны и большом пространстве степей, долго могли оставаться безнаказанными. Два раза ловили Тобольтока, и оба раза он освобождался к ужасу Бессарабии; он прибегал к подкупу и открывал страже, в каком месте у него были зарыты сокровища. Когда он снова вырвался на свободу, то был предметом самых интересных рассказов в Одессе, от которых у полиции седели волосы. Это был красивый мужчина исполинского роста, с широкой, обросшей волосами грудью и высокими плечами, совершенно такая фигура, которая часто встречается между молдаванами, сплавляющими по Днестру лес“.²

В архиве департамента полиции исполнительной министерства внутренних дел мне удалось обнаружить дело „О награждении четырех чиновников и купца Радовича за поимку разбойника Тодора Тобутока“.³

и грабежах в Бессарабии“, в котором собран ряд материалов о чрезвычайно смелых налетах разбойников на помещичьи имения, хутора и усадьбы (см. об убийстве помещиков Якубовича, Гаврилицу и др.) в конце 30-х годов. Воронцов же, послав штаб-офицера, рапортовал царю о поимке двенадцати разбойников и на этом его „желаемый успех“ закончился, так как разбой продолжались с прежней силой. Однако в Петербурге ликвидации бессарабских разбоев придавали огромное значение, что видно из того, как быстро передавались царю рапорты.

¹ Помимо указанного дела „О разбоях и грабежах в Бессарабии“ ряд интересных сведений по этому вопросу дает книга А. Демидова „Путешествие в южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году Анатолием Демидовым, членом имп. СПб. Акад. наук и искусств, имп. СПб. университета и академий Парижской, Мюнхенской и Стокгольмской“ (М., 1853).

² J. G. Kohl, Reisen in Südrussland, 2. Teil, Dresden und Leipzig, 1841, 39—40.

³ ЛОЦИА, дело № 31, 1835.

Из материалов, имеющих в этом деле, можно установить, что Тобольток действительно оперировал в Бессарабии с самого начала 20-х годов до 1834 г. Так, Воронцов в специальном донесении о поимке знаменитого разбойника указывает, что энергии измаильского купца 3-й гильдии Константина Радовича „Бессарабия обязана поимкою сильной и свирепой шайки разбойников и самого начальника оной Тодора Тобольтока, столь долго грабившего и истощавшего всю область“. О деятельности второго знаменитого разбойника Урсула почти ничего неизвестно; дело о нем, как сообщал А. И. Яцимирский,¹ хранилось в архиве попечительства о болгарских колониях в селе Комрат, но им никто не интересовался, и сейчас, очевидно, оно утрачено. Поимку Урсула достаточно ярко рисует в своих воспоминаниях Вигель. Рассказывая о своей поездке из Скулян в Кишинев, Вигель пишет: „В двух княжествах, где не было ни войска, ни полиции, шайка разбойников почти беспрепятственно, безнаказанно могла производить грабежи. Они слились в одну шайку под предводительством известного в тех местах Урсула—медведя на валахском языке. Появление турецкой армии рассеяло сию шайку. Остаток ее, вместе со своим атаманом, перешел к нам через Прут и усилился потом приставшими к нему арнаутами. Долго не могли совладать с этими людьми; но частые поимки уменьшили число их, так что под конец оно состояло из трех человек, между коими находился и сам Урсул. Они скрылись в шести верстах от Кишинева, в месте, называемом Малина. Некоторые из жителей Кишинева и окрестных мест завели тут свои кишла или хуторы. Ими овладел Урсул и заставил живущих повиноваться себе, объедая и опивая их. Военная команда содержала сие неприступное место в осаде, но не дерзала проникнуть в него. Долго могли бы эти люди оставаться в нем. Но почувствовали ли они какой недостаток, или просто скуку, или лукавый попутал Урсула, — он решился оставить его“.

Дальше Вигель рассказывает, как Урсула с его товарищами поймали на сломавшемся мостике через речушку Бык, как их схватили, перевязали и отвели в особую тюрьму, куда Вигель зашел их посмотреть. „Я нашел Урсула задумчиво сидящим на наре, сложив руки. Он был лет сорока, широкоплеч, черноволос и весь оброс бородой. Лицо его было не без благородства: оно не выражало ни страха, ни злости... В углу, на соломе, лежал также окованный товарищ его, Богаченко, лет 26-ти. Более походить на гиюну человеку невозможно; как у нее, взор его сверкал наглостью, беспокойством и бешенством. Я не подошел к нему близко, а посмотрел в лорнет, — „что, барин, — сказал он мне, злобно улыбаясь, — ты, кажется, не стар, а видно совсем ослеп“. *Потом он пустился доказывать мне права разбойников—вооруженною рукою собирать дань с господ, которые без всякого труда и опасности грабят своих крестьян* (курсив мой. В. З.). Я взглянул на него с ужасом и омерзением. — „Ну, барин, — сказал он мне, — хорошо, что ты встретил меня не в лесу; не так бы ты там посмотрел на меня“... Суд над ними продолжался все лето, ничего не дознались,

¹ А. И. Яцимирский, Пушкин в Бессарабии (полное собр. соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 176).

а в это время хитрый и смелый Богаченко успел кого-то подкупить и, перебив свои оковы, бежал один. Тогда поспешили с исполнением приговора; все дивились твердости духа Урсула, который во все время казни не испустил ни единой жалобы, ни единого вздоха".¹

Таким образом, можно заключить, что *разбои в Бессарабии в 1820—1823 гг. отнюдь не представляли единичных случаев, а были массовым явлением, формой крестьянского протеста против безудержной эксплуатации и порабощения. Усилившись после скулянского поражения гетеристов, разбои стали обычным явлением в русской Бессарабии и вызвали ряд специальных мер со стороны царского правительства, вплоть до высочайшего повеления о немедленной ликвидации разбоев и грабежей. Время массовых крестьянских разбоев в Бессарабии совпало со временем пребывания Пушкина в Кишиневе.*

III

Пушкин прибыл в Кишинев 21 сентября 1820 г., а с первых чисел марта 1821 г. (после Каменки и Киева) он окончательно поселился в Кишиневе. По ряду сведений, первой кишиневской квартирой поэта был заезжий дом русского переселенца Ивана Наумова, состоявшего при квартирной комиссии.² Вскоре Пушкин перешел в дом бессарабского наместничества к Инзову; но, живя у Наумова, он мог слышать от своего хозяина рассказы о беглых крепостных, об их жизни в Бессарабии, о многочисленных разбоях, которыми бессарабские крестьяне ответили на попытки помещиков вернуть беглецов в Россию, на увеличение налогов и т. п.

До сегодняшнего дня советское пушкиноведение не воссоздало картины жизни поэта в Кишиневе; в массе материалов, опубликованных в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, нашли себе место сотни фантастических измышлений и анекдотов о „кишиневском“ Пушкине, и до сих пор этим измышлениям не противопоставлена цельная картина жизни поэта в новом крае. Любовно писали о всяких мелочах, разыскивали генеалогические корни древа предков пушкинских знакомых в Кишиневе и забывали тот факт, что у Инзова Пушкин был чем-то занят, кроме стрельяния восковыми пулями; забывали, что Пушкин был выслан в распоряжение Инзова не в качестве гувернера к инзовскому попугаю, а в качестве государственного чиновника, на котором лежала та или иная ответственность за порученную ему работу. Пусть даже снисходительный Инзов не настаивал на сидении Пушкина в канцелярии, пусть Пушкин мало занимался бессарабскими делами наместника, но все же он через канцелярию Инзова познакомился с новым для него краем, с его особенностями, жителями, законами.

А. Н. Яцимирский в своей статье „Пушкин в Бессарабии“ писал (кстати, писал в сноске, не удостоив чести включения этого факта в текст своей

¹ Ф. Ф. Вигель, Воспоминания, т. VI, 131—134 и др.

² А. И. Яцимирский, Пушкин в Бессарабии (Венг, II, 160). Бартенев Пушкин в южной России („Русск. арх.“ 1866, 1128).

статьи и предпочитая ему пресловутую саранчу): „В архиве попечительства о болгарских колонистах, „хранящемся“ на чердаке магистрата болгарской колонии „Комрат“ Бендерского уезда, существуют дела с подписями Пушкина, быть может, подготовленные им к докладу, с его справками и т. д. До сих пор этим архивом не занимался никто, и состав его еще не выяснен“.¹

Конечно, такое массовое явление, как бессарабские разбои, не могло пройти мимо внимания Пушкина, ибо оно было связано с вопросом, наиболее тревожившим наместника, вопросом, за успешное разрешение которого отвечал Инзов, — с „благоустройством и порядком“ завоеванной у турок Бессарабии. Пушкин не мог не знать о социальной почве бессарабских разбоев, о многонациональном составе разбойничьих шаек, об их действиях. Все это должно было возбудить интерес поэта, должно было натолкнуть его мысль на создание произведения, посвященного бессарабским удалцам.

Наконец, Пушкин, несомненно, слышал многочисленные рассказы и песни о знаменитых бессарабских разбойниках, оперировавших как в „турецкой“ (до 1812 г.), так и в „русской“ Бессарабии.

В конце 80-х годов А. И. Яцимирский собрал сведения о разбойниках — легендарных героях, бытовавших в фольклоре бессарабских крестьян, и в 1896 г. опубликовал свою интересную статью „Разбойники Бессарабии в рассказах о них“.² А. И. Яцимирский пришел к заключению, что „разбойничьи“ рассказы, песни, легенды — основные жанры фольклора бессарабских крестьян. Преобладающее большинство героев этих жанров — реальные разбойники конца XVIII в. и начала XIX в.: Кодрян, Детинка, Френца, Величко, Лопушнян, Бекир, Бужор, Войку, Урсул, Кирджали, Тунза, Тобольток и др.

Пушкин, который, живя в Кишиневе, стал особенно интересоваться народным творчеством, не мог обойти своим вниманием „разбойничий фольклор“ бессарабских крестьян, и если в бумагах поэта не сохранились фиксированные им следы этого внимания, то, во всяком случае, песни про бессарабских „гоцов“ (разбойников) Пушкин несомненно слышал. Эти песни шли собственно в одном плане с известными Пушкину русскими „разбойничьими“ песнями — возвеличивали образ разбойника.

В Бессарабии во времена Пушкина, было множество мест, связывающихся с похождениями знаменитых разбойников: Вакирева пещера близ города Сорок, Борта-гоцулуй (дупло разбойника) на берегу Днестра, Пештер-гоцулуй в Цибовском ските на Днестре, в Оргеевском уезде, Пештер-талгарлуй (пещера вора) на Днестре и т. п.³

¹ См. П. с. с. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, II, 162.

² Этнографическое обозрение, 1896, I, 54—90.

³ См. указ. ст. Яцимирского, Накко „История Бессарабии“ и др. Старинные разбойничьи пристанища разбросаны были не только на побережье Днестра, но и гораздо глубже в сторону Новороссии; в 1820—21 гг. в селе Валегоцулово (Вале-долина, гоц-разбойник) б. Херсонской губернии Ананьевского уезда я слышал сказки о шайке разбойников, основавших свое братство в широкой долине, представляющей собою высохшее русло реки, когда-то смыкавшейся с Куяльницким лиманом. По преданию, разбойники жили в пещерах небольших холмов, окружающих Валегоцулово, в которых замуровали свои сокровища. Сказка слышана мною от старика-молдаванина Савелия Ивановича Григорашенко.

В пушкинское время бессарабские крестьяне пели десятки песен о разбойниках, обитавших в этих пещерах и лесных тайниках — о Кодряне, о беглом украинце — разбойнике Детинке, о молдаванине Френца, о хитром Войку, закопавшем три чудесных клада в долине, о храбром Урсуле и Кирджали.

Частые беседы Пушкина с В. Ф. Раевским, одним из блестящих знатоков народного творчества, лишней раз побуждали Пушкина заняться фольклором. Поэт был вхож в круг областного начальства (Катакази, Крупенский и др.), слышал множество разговоров о разбойничьих шайках, рыскавших вокруг Кишинева; встречаясь с офицерами, знал, что без усиленной охраны невозможны никакие поездки по Бессарабии, знал о том, что разбойников десятками ловили, ссылали на каторгу и засекали до смерти кнутом.

Интерес Пушкина к „разбойничьему“ сюжету еще более усилился, когда, после разгрома Ипсиланти, разбои приняли совершенно угрожающие размеры, и когда поэт попал в места, кишевшие разбойничьими шайками.

В декабре 1821 г. М. Ф. Орлов поручил Липранди обследовать 31-й и 32-й егерские полки. 31-й полк был расквартирован в Измаиле, 32-й — в Аккермане. Пушкину очень хотелось побывать на юге Бессарабии, и Орлов испросил позволения у Инзова, который разрешил поэту сопровождать Липранди. В маршрут Липранди входили следующие пункты: Кишинев, Бендеры, Каушаны, хутора в балке Лугош, село Гура-роши, Паланка, Аккерман, Татарбунар, Измаил, Болград, Леово и опять Кишинев.

Дорога очень интересовала Пушкина. Он с любопытством расспрашивал Липранди об историческом прошлом бессарабских городов и сел, о жителях и их обычаях и т. п. Когда Липранди понадобилось заехать к швейцарскому колонисту Тардану, учредившему в трех верстах от Аккермана колонию, Пушкин поехал с ним и задавал швейцарцу „бесчисленные вопросы“. Сохранилось свидетельство Липранди, что Пушкин интересовался знаменитым посадом Вилков, населенным донскими казаками-беглецами и беглыми крепостными.

„Услышав из моих расспросов о посаде Вилков, лежащем при самом устье левого берега Дуная и славящемся ловлею сельдей, — вспоминает Липранди, — он (Пушкин) неотступно желал, чтобы заехали туда, и даже несколько надулся, но я ему доказал, что теперь этого сделать никак нельзя, что к послезавтрему два батальона стянутся в Измаил для моего опроса, а, завертывая в Вилков, мы потеряем более суток“. В Измаиле Пушкин с Липранди останавливались у негодяанта Славича, который водил Пушкина осматривать береговые укрепления; один из измайльских офицеров речного пограничного отряда, лейтенант И. П. Гамалей, показывал поэту сторожевую флотилию, одной из основных задач которой было отражение разбоев и поимка русских беглецов-крестьян. В Измаиле же Пушкин познакомился с опальным генералом С. А. Тучковым, который много говорил с ним о формах заселения Измаила. Сам Липранди, согласно собственным его воспоминаниям, подробно рассказывал поэту о пристанище беглых крепостных, о контрабандистах и „преступниках“.

Пушкин в письме к Вяземскому сам определяет дату начала работы над „Братьями-разбойниками“: „Отрывок мой написан в конце

1821 года". Почти вся вторая половина декабря 1821 г. прошла у Пушкина в дороге из Кишинева в Бейдеры, Аккерман и Измаил, и можно, очевидно, предполагать, что поэма начата Пушкиным во время поездки с Липранди. Между прочим Липранди два раза упоминает о том, что Пушкин во время поездки работал над стихами: „В Татарбунар мы приехали с рассветом и остановились отдохнуть и пообедать... Я ходил к фонтану, а Пушкин что-то писал, по обычаю, на маленьких лоскутках бумаги и как ни попало складывал их по карманам, вынимал опять, просматривал и т. д. Я его не спрашивал, что он записывает, а он, зная, что я не знаток стихов, ничего не говорил мне".¹ Писал Пушкин и в Измаиле: „В этот день я возвратился в полночь, застав Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги... Пушкин проснулся ранее меня. Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову. Увидев меня проснувшимся, он собрал свои лоскутки".

Пушкин, припомнив эпизод побега двух прикованных друг к другу заключенных разбойников в Екатеринославе, рассказы о подвигах бесарабских разбойников, о составе их шаек, свои впечатления о екатеринославском бунте — „мечте о свободе", в декабре 1821 г. начал работу над прошлогодним замыслом, к которому приступал несколько раз.²

IV

Беловая рукопись „Братьев-разбойников" не сохранилась, так как была уничтожена Пушкиным. Первоначальные наброски, сохранившиеся в четырех тетрадах, представляют собой черновик 58 стихов поэмы от стиха 1-го: „Не стая воронов слеталась" до стиха 59-го: „Ах юность, юность удалая". Таким образом, мы располагаем черновой рукописью одной четвертой части сохранившегося отрывка поэмы. Сам Пушкин несколько раз упоминает о том, что поэму он начал в конце 1821 г. и закончил в начале 1822 г. (письмо Вяземскому), в изданиях же и в подготовительных наметках стихов, предназначенных для печати, помечал

¹ „Из дневника и воспоминаний Липранди" („Русск. арх." 1866, 1273 и др).

² Г. Новополин в ст. „Пушкин и Екатеринослав" (альманах „Штурм", Днепропетровск, 1936, № 11—12) склонен чуть ли не все творчество Пушкина на юге России ограничить екатеринославскими впечатлениями. Так, он настойчиво подчеркивает, что поэма целиком обусловлена фактом бегства двух разбойников из екатеринославской тюрьмы. Однако Г. Новополин забывает одну „мелочь": что кроме отрывка, дошедшего до нас, были еще планы поэмы Пушкина, и что часть поэмы Пушкин сжег.

Сообщая читателю, что он, Новополин, нашел тетрадь „со старательно переписанными поэмами Пушкина „Цыганский (?! В. З.) пленник" и „Полтава", автор статьи усиленно „привязывает" Пушкина к Екатеринославу.

Можно было бы не обратить внимания на эту поверхностную статью, если бы Г. Новополин поставил себе цель указать лишь на факт бегства двух заключенных (что, впрочем, сделал 114 лет назад сам Пушкин); между тем, он полагает, что, руководствуясь местным патриотизмом, можно говорить о „екатеринославском Пушкине".

поэму 1822 г. (в тетради № 2365 л. 53 об., в списке произведений на листке № 327 из б. онегинского собрания в ИЛИ, на листке № 215 из собрания Б. Л. Модзалевского, ИЛИ).

Работа Пушкина над поэмой представляется в следующем виде, прежде всего был набросан план поэмы (тетрадь № 2365, л. 61 об.), затем стихи „По Волге, в темноте ночной“ (записная книжка 1820—21 гг., так называемая тетрадь Тарасенко-Отрешкова), второй вариант плана, л. 46, стихи „Нас было два брата, мы вместе росли“ (тетрадь № 2365, л. 51) и, наконец, черновики поэмы в том виде, в каком она была отослана Николаю Раевскому.

Два варианта плана поэмы находятся в тетради № 2365, и если не датированы Пушкиным, то во всяком случае, на основании ряда данных, могут быть приблизительно датированы. Первые 22 листа тетр. № 2365 содержат беловую рукопись „Кавказского пленника“ с небольшими поправками и датой „20-го февраля 1821 г.“ На листе 27-м черновик стихотворения „В стране, где я забыл тревоги прежних лет“, начато приблизительно 6 апреля 1821 г. и законченного к 20 апреля. На лл. 31 об. — 33 об. черновик „К моей чернильнице“, написанный 11 марта; на лл. 40 — 41 об. — наброски комедии об игроке и помета: „4-го июня ночью, 5-го июня Дегилье“; на л. 45 об. помета „18 Juillet 1821 mort Napoléon“; на л. 46 — один вариант плана „Братьев-разбойников“ — „Разбойники, история двух братьев“ и рисунки профилей Марата и Занда; на л. 46 об. дата „26 Juillet 1821“ и рисунок крестьянина с бородой; на л. 47 — дата „23-го августа 1821 г.“ На л. 47 об. — дата „24 августа, в ночь“ и набросок стихотворения „Не спрашивай меня о том, чего уж нет“. На л. 48 об. — „Дивлет-гирей задумчиво сидит“; на л. 49 об. — 50 — наброски адской поэмы. Между лл. 50 и 51 и между лл. 51 и 52 — самим Пушкиным вырвано несколько листов (последовательность жандармских помет красными чернилами не нарушена). На л. 51 — набросок: „Нас было два брата, мы вместе росли“; на л. 51 об. — карандашный набросок — кишиневский пейзаж (очевидно, из окна дома Инзова) и дата „30 марта“. На л. 52 — черновой набросок: „Нас было двое — брат и я“; на л. 52 об. — набросок не вошедших в окончательный текст стихов из „Братьев-разбойников“ — „Забавы скучны были нам“. На л. 53 — выписка из „Песни песен“ Соломона и список произведений, между которыми „Братья-разбойники“ датированы 1822 г. На л. 53 об. — 56 набросок стихотворения: „Овидий, я живу близ тихих берегов“; на л. 58 — черновой набросок незаконченного стихотворения: „Я говорил пред холодной толпой“; на л. 59 — помета „9 декабря 1823 г.“; на л. 61 — замечания по русской истории — „Петр не страшился народной свободы“. На л. 61 об. — 1-й вариант плана „Братьев-разбойников“ — „Вечером девица плачет, подговаривает“, после которого вырвано Пушкиным несколько листов. На лл. 62 об. — 65 об. — „Чудесный жребий совершился“, написанное в июле 1821 г.

В тетради № 2366 (л. 19) сохранился черновик стихов 18—40 (от стиха „Опасность, кровь, разврат, обман“ до стиха „И все вокруг его внимают“), после которых, ниже, один стих: „Нас было двое — брат и я“, а еще ниже — набросок стихов 13—17. Тетрадь № 2366, как мне представляется, содержала в себе уничтоженные Пушкиным черновики поэмы.

В тетради сохранилось всего 43 листа, а вырвано Пушкиным около 60. Между 3—4 лл. вырвано шесть листов, три из которых содержали (что можно узнать по обрывкам слов) черновики „Песни о вещем Олеге“; между лл. 7—8 вырван один лист, между лл. 8—9—два листа, 9—10—три листа, содержащие план поэмы о Мстиславе Удалом; между лл. 11—12—два листа, 17—18—один лист, 19—20—четыре листа, 21—22—три листа, 22—23—три листа, 23—24—два листа, 27—28—один лист (содержащий, по всей вероятности, черновик „Бахчисарайского фонтана“), между 33—34—18 листов, содержащих французский текст, и в конце тетради—свыше 20 листов. Четыре листа, вырванные Пушкиным, между лл. 19—20, могли содержать черновики „Братьев-разбойников“, хотя с уверенностью этот вопрос решить нельзя, так как на сохранившихся корешках вырванных листов можно разобрать только отдельные буквы.

Последовательность работы Пушкина над „Братьями-разбойниками“ представляется приблизительно в следующем виде: в июле 1821 г. он набросал первый вариант плана поэмы—„Вечером девица плачет“, в котором еще нет никаких упоминаний о том, что героями поэмы будут братья-разбойники, и в записной книжке стал набрасывать начало поэмы „По Волге, в темноте ночной“, которое впоследствии отстранил. В этом же месяце, может быть через несколько дней после работы над первым вариантом, Пушкин набрасывает второй вариант плана, который, несомненно, должен рассматриваться как окончательный—„Разбойники, история двух братьев“ и в одно время с написанием второго варианта плана начинает четырехстопным амфибрахием вступление в поэму: „Нас было два брата, мы вместе росли“, которое в конечном счете тоже не удовлетворило поэта, и работа над поэмой была оставлена на четыре месяца. В декабре 1821 г. (согласно указанию самого Пушкина), очевидно, во время поездки с Липранди по Бессарабии, Пушкин снова начинает поэму четырехстопным ямбом: „Не стая воронов слеталась“. Ни дорожные условия, ни жизнь в Кишиневе по возвращении (дуэль с Зубовым, встреча со знакомыми после путешествия) не способствовали работе над поэмой, которая с перерывами тянулась до начала лета 1822 г.

Первый вариант плана:

ПОЭМА.

[О] Вечеромъ дѣвица плачетъ, подговариваетъ,
[она пла] [р] молодцы готовы отплыть; Есаулъ — гдѣ то
нашъ атаманъ — Они плывутъ и поютъ....

Подъ Астраханью разбиваютъ корабль купеческій;
он беретъ себѣ [въ] другую [та сходить съ ума]; [та]
новая не любить и умираетъ — Онъ пускается на всѣ злод
[товарищи] Есаулъ предаетъ его — —

Попытка Пушкина реализовать первый вариант плана воплощена в небольшом черновом наброске „По Волге, в темноте ночной“, находящемся в записной книжке 1820—21 гг. Набросок находится на обороте 49-го листа, между стихотворением „В твою светлицу, друг мой нежный“ и исторической заметкой „Словен оснует город Славянск“, писан чернилами и содержит 11 строк:

(На) По Волгѣ, въ темнойъ ночной
 [чуть] вѣтрило блѣдное
 [Плыветъ ладья] блѣдетъ
 [благопріи]
 [струи] [бла] въ бразды [лагопрі] попутный вѣтеръ
 [чуть озаренное луной]
 [благопріятный] [недвижны веслы] вѣтеръ
 [Съ подъятых веселъ каплетъ] тихо гѣетъ
 Недвижны веслы, руль заснулъ —
 [ночныя]
 Плывутъ ребята удалыя —
 И стоя Есаулъ
 лѣсно ¹

На основании палеографического анализа этого наброска можно прийти к заключению, что он написан приблизительно в одно время с „Узником“ и „Кинжалом“.

Уже в первом наброске Пушкин отодвигает место действия поэмы из Бессарабии на Волгу, и это не случайно: похождения волжских разбойников были со времени Разина освящены вековой традицией, с Волгой были связаны крупнейшие крестьянские движения Разина и Пугачева, „понизовая“ волжская вольница снискала себе громкую славу, а песни и легенды о волжских разбойниках имели в начале XIX в. самое широкое распространение; наконец, 1820—21 гг. были периодом некоторого роста волжских разбоев, что заставило правительство увеличить волжскую военную флотилию. Волга была типичным местом многочисленных разбоев, а волжские разбойники — наиболее типическими фигурами разбойников большого размаха; это заставило Пушкина избрать местом действия поэмы Волгу.

Начало поэмы должно было, согласно первому варианту пушкинского плана, представлять собой картину пути разбойников по реке — обычный зачин крестьянских „разбойничьих“ песен, наиболее полно выраженный в знаменитой песне „Вниз по матушке, по Волге“:

Вниз по матушке, по Волге,
 По широкому раздолью
 Разыгралася погода,
 Погодушка не малая.
 Ничего в волнах не видно,
 Только лодочка чернеет.
 Только лодочка чернеет,
 Паруса на ней белеют и т. д.

Таков же зачин известной „разбойничьей“ песни „Что сверху то было Волги-матушки“, включенной в песенник В. Каина.

¹ ... По Волге, в темноте ночной

Ветрило бледное белеет,
 Чуть озаренное луной,
 Попутный ветер тихо веет,
 Недвижны веслы, руль заснул,
 Плывут ребята удалые
 И, стоя есаулъ
 песню

Пушкинский набросок изобилует славянизмами („ветрило“, „ладья“, „бразды“ и т. п.), стихи не отделаны. Набросок был отстранен Пушкиным, решившим конкретизировать первый вариант плана.

Второй вариант плана задуманной Пушкиным поэмы мало чем отличается от первого; в его содержании повторяется та же сюжетная ситуация и даже отдельные моменты, имевшие место в первом варианте: место действия, разгром купеческого корабля, песня разбойников, сумасшествие оставленной атаманом девушки. Во втором варианте Пушкин уточняет план тем, что разбивает его на четыре части, определяя этим композицию будущей поэмы, которая, следовательно, должна была состоять из четырех частей (или песен, глав):

- I. Разбойники, история двух братьев
- II. Атамань и с нимъ два, ладь его etc.; пѣснь на Волгѣ
- III. Купеческое судно, дочь купца
- IV. Сходить съ ума.

Пушкин вводит во второй вариант, в качестве героев, двух братьев-разбойников, история которых должна была, согласно замыслу поэта, служить вступлением в поэму. Второй вариант гораздо лаконичнее первого, и это не дает возможности с полной уверенностью решить вопрос: оставил ли Пушкин во втором варианте плана финальную сцену поэмы — „злодеяния“ атамана и предательство есаула, отмеченные в первом варианте, или нет? Во всяком случае, вернее предполагать, что эта сцена должна была найти свое место и во втором варианте, также как указанные выше сходные в обоих вариантах моменты. Следовательно, включение этой сцены в анализ второго варианта поэмы едва ли будет незакономерным.

Исследователи Пушкина, комментируя оба варианта плана „Братьев-разбойников“ (между прочим, эти варианты всегда почему-то рассматривались как одно целое, без всякого установления их хронологической последовательности и преемственности), сближали поэму, на основании анализа плана, с байроновским „Корсаром“ (к таким выводам пришел, например, Л. Н. Майков). Это сближение имело некоторые основания: как и байроновский Конрад, переживавший трагедию внутренней борьбы двух чувств — любви к Медоре и глубокой благодарности Гюльнаре, герой Пушкина должен был испытывать трагедию человека, „поставленного меж двух женщин“, из которых одна горячо любит его, а другую любит он сам. Как и Медора, подруга пушкинского героя умирает. Этой формальной сюжетной аналогией и ограничивается сходство обоих вариантов плана „Братьев-разбойников“ с „Корсаром“.

Существенно другое. Судя по плану, Пушкиным было задумано большое произведение, которое должно было, согласно его замыслу, стать в один ряд с крупными поэмами. Произведение это мыслилось Пушкиным как поэма о волжских разбойниках с романтически развернутым сюжетом. Традиции волжского разбойничества имели долгую историю и издавна находили свое выражение в многочисленных песнях, которые были прекрасно известны Пушкину. На основании этих песенных материалов прежде всего Пушкин должен был оформить свое новое произведение. Грабеж купеческих судов, привольная жизнь „пони-

зовых бурлаков“, бежавших в леса от помещиков, яркие волжские песни, свободное братство разбойников, их дикая смелость и независимость — вот что главным образом интересовало Пушкина и что должно было найти свое место в его новой большой поэме.

И. Н. Жданов, читавший в 1890—91 г. курс лекций по русской литературе для студентов Петербургского историко-филологического института, отводил в своих лекциях большое место пушкинскому плану „Братьев-разбойников“, которому придавал очень серьезное значение.¹ И. Н. Жданов прежде всего констатировал значительное расхождение между оценкой, данной „Братьям-разбойникам“ критикой, и оценкой самого Пушкина: „отзывы самого Пушкина резко расходятся с отзывами критики о поэме; последняя рано уже находила в этом произведении серьезные недостатки“. Это расхождение имело, по мнению Жданова, свое объяснение: „дело в том, что сам Пушкин смотрел на „Братьев-разбойников“ гораздо шире, чем могли смотреть критики. В его глазах поэма эта представлялась лишь частью задуманного им большого произведения, первоначальный план которого, благодаря случаю, уцелел... Весь этот обширный план стоял мысленно перед глазами Пушкина, когда он говорил о своей поэме, и поэтому он относился к ней совсем иначе, чем его критики“.

Пусть И. Н. Жданов не совсем прав, говоря о некоей пропасти между оценкой поэмы критиками и оценкой самого Пушкина (ибо он не учитывает мнения А. И. Тургенева, Рылеева, Бестужева — и позже отзывы Огарева, Чернышевского, второй отзыв, более поздний, Белинского), все же в основном безусловно правильна его мысль о том, что оставшийся после сожжения текст „Братьев-разбойников“ — отрывок большой поэмы, очень интересной по замыслу и имеющей большое значение для Пушкина.

В „Братьях-разбойниках“ Пушкин впервые подошел к освоению конкретно-исторической темы, к освоению явления, имевшего многолетнюю традицию и широкое бытование в фольклоре. Пусть даже сюжетный костяк поэмы мыслился Пушкиным романтически, „байронически“, если угодно („герой поставлен меж двух женщин“), не в этом суть. Суть в том, что впервые в истории русской литературы затрагивалась тема, о которой принято было молчать, тема большой социальной остроты, тема, воплощенная в сотнях песен и сказок крепостного крестьянства, народа, к которому так серьезно стал стремиться в эту пору Пушкин. Суть, наконец, в том, что эта тема обязывала Пушкина пересмотреть вопрос о поэтическом языке, поставить вопрос о возможности обогащения литературной речи народными словами и оборотами, „отечественными звуками“, которые могли испугать „нежные уши читателей“.

К каким выводам о сюжете поэмы можно прийти на основании анализа ее плана? Перед исследователями данного вопроса возникает большое искушение дать, согласно плану, развернутое толкование неосуществленной поэмы Пушкина; вместе с тем попытка какого бы то ни было истолкования сюжета в категорической форме неизбежно связана с опасностью впасть в импрессионизм и пойти по пути фантастических измышлений. Поэтому я предупреждаю, что мои предположения

¹ См. литографированные лекции И. Н. Жданова.

о сюжете поэмы в целом являются *предположениями* и имеют подчеркнуто гипотетический характер.

План Пушкина имеет четыре раздела. Первый из этих разделов (выполненный Пушкиным) рисует историю двух братьев, крепостных крестьян, бежавших от своего барина в лес и занявшихся разбоем; после многочисленных подвигов и сиденья в остроге они бегут в „зеленую дубраву“, где обессилевший младший разбойник умирает, а старший, ожесточенный и злобный, пристаёт к крупной шайке, которой рассказывает повесть о своей жизни.

Второй раздел рисует похождения этой шайки на Волге. Во главе шайки стоит герой поэмы — атаман. Очевидно, эта роль предназначалась Пушкиным старшему брату, настроение которого после смерти младшего, а также черты его характера — решимость, смелость, безудержное удайство и жестокость — должны были произвести на шайку большое впечатление; разбойники выбрали „нового пришельца“ своим атаманом (это положение кажется нам бесспорным, так как иначе Пушкину незачем было открывать поэму историей двух братьев сценной, которая выглядела бы сюжетно лишним привеском; старший брат должен был возглавить подвиги разбойничьей шайки на Волге).

Трудно судить, в чем выражались бы действия разбойников; в первой песне поэмы Пушкин изображал разбойников-одиночек, подкарауливающих под деревом ночных прохожих; во второй песне перед ним стояла задача показать массовый разбой. И неизвестно, только ли проходящие по Волге купеческие суда служили бы объектом нападения разбойников, которые *„не прощают, не щадят“*, или Пушкин расширил бы сферу действий своих героев.

Между тем в атаманской лодке появляется молодая девушка, которая по песенной традиции (а не по „Корсару“) становится „атамановой полюбовницей“. Пушкин должен был показать историю этой девушки, так как он ни слова не говорит о ней в первой части. По всей вероятности, она — сестра есаула (в многочисленных разбойничьих песнях, известных Пушкину, девушка среди разбойников фигурирует как „есаулова родна сестрица, атаманова полюбовница“). Атаман любит ее, они весело проводят время среди ночных поездок по Волге, грабежей и гулянок. Но постепенно атаман охладевает к своей „полюбовнице“. Вторая песня поэмы должна была заканчиваться, согласно плану, песней разбойников на Волге. Весьма вероятно, что Пушкин использовал бы старинную разбойничью песню „Что сверху то было Волги-матушки“, напечатанную во многих песенниках конца XVIII в. и начала XIX в., которая служила бы прекрасным лирическим аккомпанементом сюжетной ситуации, означающей конфликт между атаманом и девушкой. Песня эта неоднократно печаталась Новиковым, включена была в сборник песен, приложенный Матвеем Комаровым к „Похождениям Ваньки-Каина“:

Что сверху то было Волги-матушки,
Что плывет гребет легка лодочка.
Хорошо то была лодка изукрашена —
У ней нос корма раззолочена,
Что расшита легка лодочка на двенадцать весел.
На корме сидит атаман с ружьем,
На носу стоит есаул с багром,

По краям лодки добры молодцы,
 Посреди лодки красна девица,
 Есаулов розна сестрица,
 Атаманова полюбовница.
 Она плачет, что река льется.
 В возрыданьи слово молвила:
 Нехорош то мне сон привиделся:
 Уж как бы у меня красной девицы
 На правой руке, на мизинчике,
 Распаялся мой золот перстень,
 Выкатался дорогой камень,
 Расплеталася моя руса коса,
 Выплеталася лента алая...
 Атаману быть поиману,
 Есаулу быть повешену,
 Добрым молодцам головы рубить,
 А мне, красной девице, в темнице быть.

В третьей песне Пушкин собирался дать картину захвата разбойниками купеческого судна под Астраханью. Разбойники разбивают корабль и получают богатую добычу. Как видно, после традиционного дележа (в старых разбойничьих песнях есть десятки вариантов о том, как атаман при дележе берет себе, в виде своей части добычи, девушку) атаман берет себе в наложницы прекрасную дочь купца, хозяина захваченного корабля. Атаман всячески склоняет ее к любви, но она не любит его и тоскует. Между тем прежняя „атаманова полюбовница“ оставленная им, видя любовь атамана к другой девушке, тоже тоскует все больше и больше.

В четвертой песне Пушкин подводит сюжет к финалу поэмы. Тоска оставленной любовницы превращается в умопомешательство, дочь купца умирает (Пушкин не отмечает в планах момента, который позволил бы судить, каким образом и при каких обстоятельствах умирает купеческая дочь, но, может быть, предположение Л. Н. Майкова о том, что Пушкин в данном случае мог использовать эпизод потопления Разиным персидской княжны, известный по песням и мемуарам голландца Стрюйса, не лишено некоторых оснований). Атаман с горя идет на целый ряд „злодейств“, но не испытывает ни малейших признаков раскаяния. Есаул, повидимому, загрузивший после смерти сестры, делается предателем и хитростью отдает виновника ее смерти — атамана в руки правительства. В таком приблизительно виде представляется задуманная Пушкиным большая поэма о волжских разбойниках.

Насколько удачен был по своим художественным качествам набросанный Пушкиным план? Отвечал ли он тем требованиям, которые предъявлялись к литературе самим Пушкиным? Удовлетворял ли он поэта? Это — важный вопрос, так как неудача пушкинского плана, по мнению некоторых исследователей, якобы заключавшаяся в бессвязности и „слабости избрения“, привела к тому, что поэма не была закончена.

Однако, что касается плана „Братьев-разбойников“, то он вполне отвечал тем требованиям, которые в 20-х годах предъявлялись к литературе самим Пушкиным: он был действителен в смысле сюжетной структуры и развития отдельных мотивов, органически связанных между собой; он был оригинален, так как, во-первых, вырос на материалах народного творчества, а во-вторых, своим содержанием определял поэму,

представлявшую новое явление в литературе. И, наконец, если уж Пушкин мог быть недоволен планом как таковым, ничто не мешало ему переделать этот план так же, как он переделал план „Кавказского пленника“ (я уже указывал на то, что и в рукописях Пушкина имеется два варианта плана, а не один); при соответствующей переработке Пушкин мог бы удалить из плана все то, что, по его мнению, могло снизить качества поэмы. Однако план был подвергнут только одной переработке, которая удовлетворила Пушкина. Главное же заключается в том, что говорить о плане „Братьев-разбойников“ можно только в связи с изучением генезиса поэмы, в связи с уцелевшим отрывком и при учете той части поэмы, которая была сожжена Пушкиным. Вне этой связи — рассмотрение плана становится мертвой, абстрактной схемой.¹

V

Вначале Пушкин решил реализовать второй вариант своего плана путем непосредственного показа детства героев, которое думал сделать введением в поэму. Он набросал рассказ старшего брата четырехстопным амфибрахийем:

Нас было два брата — мы вместе росли
И жалкую младость в нужде провели.
Но алчная страсть овладела душой,
И вместе мы вышли на первый разбой.
Мы ночью глухою, при яркой луне...
Купец обробелый скакал на коне,
Его мы настигли...
И первую кровь омыли кинжал.
Мы жили к убийству привычным ножом
И стали в селеньях ужасны кругом.

Пушкин не был удовлетворен этим наброском и сейчас же отстранил его. Но уже в этом наброске Пушкин подчеркивает типические черты своих героев, черты, которые привели их к разбою: суровую бедность, нужду, жалкую нищету, испытанную братьями. Но Пушкин пока не пытается раскрыть социальное лицо братьев; по этому наброску мы еще не можем судить о социальной почве, на которой выросли стремления братьев взять в руки нож. После работы над этим наброском осуществление поэмы было отодвинуто Пушкиным на несколько месяцев.

¹ Некоторые исследователи оперируют планом „Братьев-разбойников“ именно как абстрактной схемой, в которой заложены какие-то имманентные категории, несколько не зависящие не только от темы, но даже от действительности. Так, П. О. Морозов писал: „Образ разбойника не пропал у нашего поэта: вслед за уничтожением поэмы ее герой, разбойник, превратился в крымского хана, отвергнутая любовница назвалась Заремой, а взятая в набег купеческая дочь, которая не может любить своего похитителя, обратилась в княжну Марию, после смерти которой Гирей, точно так же как и атаман пушкинской программы, „пускается на все злодейства“. Таким образом бахчисарайский фонтан явился только новой обработкой темы, которая уже ранее занимала Пушкина, но для которой первое найденное им воплощение оказалось неудачным“ (см. полное собр. соч. Пушкина, изд. имп. Академии наук, т. III, 181). Если исходить из соображений П. О. Морозова, можно продолжить линию чудесных превращений литературных героев гораздо дальше: Земфира — Алеко — молодой цыган, Печорин — княжна Мари — Вера, Азна — Каренин — Вронский — вплоть до пресловутого „треугольника“.

В конце 1821 г. поэт начал работу над задуманным произведением по второму варианту плана, но иным размером и с иным вступлением.

Рукопись вступления представляет собой $\frac{1}{2}$ листа писчей бумаги, сложенного пополам с жандармской пометой красными чернилами на первой чистой странице: „б“. Бумага с водяным знаком „Хлюстиных... 18 года (т. е. 1818)“, на которой Пушкин обычно писал в Кишиневе (на Хлюстинской же бумаге 1818 г. писаны почти все донесения Инзова в Петербург). На второй странице находится черновой набросок начала: „Не стая воронов слеталась“ до строки: „Они... толпой“. На этой же странице, „вниз головой“, черновик стихотворения „Гречанка верная, не плачь, он пал героем“, писанный приблизительно в одно время с началом „Братьев-разбойников“. На 3-й странице — французский перевод из „Гяура“ Байрона. На 4-й, последней, странице — едва поддающийся прочтению черновик „Братьев-разбойников“ от слов „Картина странная“ до „Степей питомец безобразный“ (ИЛИ, Ф. 224, оп. 1, № 363).

Первую строфу вступления Пушкин набросал очень уверенно, с небольшими поправками, свидетельствующими о том, что зачин был тщательно продуман поэтом:

Не стая воронов слеталась
Вкруг истлевающих
(Кругом оставлен)
(На груды тлеющих) костей средь огней
За Волгой ночью, вкруг...

Почти в таком же виде строфа эта была внесена Пушкиным в окончательную редакцию и не подверглась дальнейшей правке.

Сравнение (с отрицательной частицей „не“) шайки разбойников с птицами, слетающимися с разных сторон, типично для крестьянских „разбойничьих“ песен; обычно в таких сравнениях фигурируют соколы (чаще всего), орлы, лебеди, ласточки, голуби и т. п. Сравнение разбойников с воронами не принадлежит к числу распространенных. Крестьяне, видевшие в разбойниках героев-мстителей, охотнее всего сравнивали их со смелыми, хищными соколами (очень часто пользуясь ласкательно-уменьшительным „соколички“). Ворон же обычно в таких песнях олицетворял собой отрицательный образ сравниваемого с ним героя. Так, в „Собрании разных песен“ Чулкова опубликована была известная песня „Во граде было во Киеве“, в которой изображались разбойники, зарезавшие своего зятя и племянника и полонившие родную сестру. В явно недоброжелательном к героям контексте, они сравниваются с воронами:

Не злы вороны налетели,
Злы разбойники наехали,
Морянина смерти предали,
Морянченка в море бросили...

Есть и другие примеры использования сравнения разбойника с ворон¹ в отрицательном аспекте. ¹

¹ Сам Пушкин прекрасно понимал разницу в поэтическом образе ворона и орла. В „Капитанской дочке“ он вкладывает в уста Пугачева сказку, являющуюся в известной мере символом: „Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, — расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рас-

Пушкин, как увидим ниже, не случайно остановился именно на воронах как на поэтическом образе, определяющем характер его героя; дальнейшая их характеристика еще более подтверждает, что поэт сознательно отбирал в крестьянских песнях именно то, что отвечало его собственному отношению к явлению.

Вслед за первой строфой в черновике шли следующие, не вошедшие в белую редакцию стихи:

Они плаши на землю стелят,
Сядут шумною толпой
И дружелюбно меж собой
Кровавую добычу делят.
Казна в добычу им досталась,
Они делились казной.
На лицах яркою чертой
Корысть изображалась.

Пушкин впоследствии отбросил эти две строфы, характеризующие его героев, и после первой строфы перешел к стиху: „Какая смесь одежд и лиц“, однако первоначальные следы, фиксирующие движение мысли поэта, очень интересны тем, что они раскрывают вопрос, почему Пушкин избрал для своих героев отрицательное сравнение с воронами: в художественном толковании образа разбойника Пушкин не мог целиком слиться с песнями, звучащими „точно акафист святому“; угверждая историческую закономерность и романтический пафос борьбы своих героев-крепостных за личную свободу, Пушкин не мог возводить на пьедестал разбой как преступление и, конечно, отрицательно относился к нему.

Дальнейшие строфы черновика выглядят так:

(Картина странная)
(стран)
(Разнообразный,) (чудный вид)
(Одежда, лица — все различно)
Какая смесь одежд и лиц,
Племен и лет и состояний
(Они)
(Сюда стеклись)
(из) со всех границ
всех племен
(земли)
(Со всяких стран)
(Они стеклись)
(Они сюда) сбежались
Они (стеклись) для сгъзаний.

сказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-навсего только 33 года? — Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай, попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат-ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напишься живой кровью, а там что бог даст. Какова калмыцкая сказочка?

— Затейлива, — отвечал я ему, — *но жить убийством и разбоем — значит по мне клевать мертвечину* (курсив мой. В. З.).

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал.

Сбоку Пушкин приписал следующие строки:

Из сел, пустынь
(Из) темниц —
(всем) видится (один) (конец)
(У всех один) венец
Живут без власти без зак
(им нег) (ни власти)
Живут без власти, без
(Нет) закона.

Эти строки являются черновиком полтора строф, следующих за первой строфой зачина от стиха: „Какая смесь одежд и лиц“ до стиха: „Живут без власти, без закона“.

Комментаторы Пушкина (первый, если я не ошибаюсь, сделал это Л. Поливанов) пытались найти литературные источники этих стихов Пушкина и указывали на двустышие Державина из стихотворения „На рождение царицы Гремиславы“:

Какие разные народы,
Язык, одежды, лица, стан,

однако здесь не реминисценция, а закономерное оттенение внешнего вида разбойничьей шайки, свойственное почти всем художественным описаниям, изображающим разбойничий лагерь.¹

Очень любопытным является стремление Пушкина придать внешнему разнообразию разбойников конкретные черты многонациональности, получившие в белой редакции наиболее полный характер:

Меж ними зрится и беглец
С берегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей —
Калмык, башкирец безобразной,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган.

Стремление это, как видно из черновиков (в черновой рукописи 8 раз повторен „Выходец донских станиц“ „беглец воинственный“ донской казак, 13 раз повторяется „в рубище суровом“ финн „северный ловец“, несколько раз „беглецы Днепра — украинцы, несколько раз калмыки, башкиры, еврей), было у Пушкина очень настойчивым и, несомненно, диктовалось реальной бессарабской действительностью.²

¹ Сам Пушкин в „Дубровском“, рисуя разбойничий лагерь в лесу, повторяет эти черты: „На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около бр-тского котла“. См., между прочим, статью Б. В. Томашевского „Пушкин и романы французских романтиков“ („Литературное наследство“, т. 16—18, 947—960), в которой автор указывает на совпадение отдельных сцен „Дубровского“ и романа Альфонса Руайе и Огюста Барбье „Les mauvais garçons“. Совпадения эти носят, как мне кажется, случайный характер.

² Художник Галактионов, иллюстрировавший „Полярную звезду“, прекрасно уловил эту особенность пушкинского разбойничьего лагеря: на рисунке, предвещающем текст „Братьев-разбойников“, он в центре изобразил рослого украинца со свисающими усами, сбоку русского мужика, рядом еврея, слу-

Офицеры Генерального штаба царской армии в свое время собрали довольно любопытные сведения о кадрах, пополнявших разбойничьи шайки в Бессарабии, и, останавливаясь на многонациональности „преступников“, не стеснялись говорить о причинах, толкнувших „злодеев“ на преступление.¹ „Большая часть *великороссиян* в Бессарабии состоит из лиц, убежавших из разных русских губерний от рекрутства и помещиков“,² „бессарабские леса и степи скрыли также множество и *малороссиян*, перешедших из приднестровских и приднепровских губерний, по большей части тайком, спасаясь от рекрутства и помещиков“.³ „Города Хотин, Бельцы, местечки Новоселица, Липканы, Скуляны и Фалешты населены целиком обществами *еврейских* контрабандистов, укрывателей беглых и разного рода преступников“.⁴ Только с 1844 г. в Молдавии началась „эмансипация *цыган* из крепостного состояния, но больше на бумаге, чем на самом деле“.⁵ Александр не замедлил после оккупации Бессарабии удовлетворить запросы помещиков, и в 1818 г. бессарабским помещикам „высочайше утвержденным уставом“ подтверждено „право частного владения цыганами в качестве крепостных“.⁶

А. Ф. Вельтман в своих „Бессарабских воспоминаниях“ подробно рисует условия жизни крепостных цыган, которые десятками бежали от своих бояр в войска Ипсиланти и Владимиреско и в разбойничьи шайки.⁷

Скрывшиеся в XVIII в. от расправы царских войск донские казаки-некрасовцы, обжившиеся в глухих буджакских степях, образовали ко времени пребывания Пушкина в Кишиневе настоящие разбойничьи гнезда, в которых с удовольствием принимали своих земляков, „выходцев донских станиц“, дезертиров и крепостных, бежавших от помещиков, о чем в неофициальном отделе „Кишиневских епархиальных ведомостей“ сообщает автор большой и интересной работы „Посад Вилков“: „Селение Вилков выделило из себя (в 1821 г.) выселок Козею. Эта Козея стала градом убежища для тех козлов отпущения, которые не могли перенести безобразий помещичьего произвола и под названием бродяг спаслись бегством в Бессарабию“.⁸

Все эти черты реальных бессарабских разбойников не могли не найти своего места в черновых рукописях „Братьев-разбойников“. Пушкин,

шающего рассказ украинца, и полулежащего цыгана; резко осветив черты разбойничьих лиц отблесками горящего косгра, Галактионов очень умело сосредоточил внимание читателей на разнообразии их фигур. Рисунок Галактионова был в „Полярной звезде“ 1825 г., а не в изд. 1827 г., как утверждает А. Горнфельд („Путеводитель по Пушкину“, Гиз, 1931, 67).

¹ „Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генштаба“. А. З а щ у к, „Бессар. обл.“ Спб, 1862.

² Там же, 154, 15.

³ Там же, 157.

⁴ Там же, 172.

⁵ Там же, 178.

⁶ Там же, 176. Князья Кантакузины имели несколько тысяч крепостных цыган.

⁷ „Киш. епарх. ведомости“ 1881, № 3. Воспоминания Вельтмана опубликованы в книге Майкова „Пушкин“.

⁸ „Кишиневские епархиальные ведомости“ 1881, № 3.

изучая новый край, присматриваясь к его особенностям, уже тогда стал эти особенности воплощать в своем творчестве.

Пушкин не мог не остановиться на причинах, которые соединили у разбойничьего костра такую „смесь одежд и лиц“; он в черновике (рукопись Онегина) делает сбоку приписку о том, что разбойники в свое время бежали „из сел, пустынь, из темниц“, так как „всем видится один конец, у всех один венец“. Даже в редакции, предназначенной для печати, Пушкин оставил две строки, раскрывающих единое общее, связывающее разношерстную шайку разбойников, помогающее им найти общий язык, определившее все содержание их новой жизни:

Здесь цель одна для всех сердец —
Живут без власти, без закона.

Конечно, наибольшего внимания заслуживают герои поэмы, характер которых вскрыт Пушкиным в рассказе старшего брата. В тетради № 2365, как я уже указывал, имеется несколько расположенных между вырванными листами набросков, относящихся к окончательной редакции поэмы; эти наброски, следы предварительной работы Пушкина над своим замыслом, представляющие собой ряд чрезвычайно неразборчиво, наспех написанных строк, часть которых не поддается прочтению, все же позволяют с достаточной четкостью определить, кого Пушкин избрал героями своей поэмы:

Нас было двое — брат и я
(Взросли мы в бедности суровой)
В родном селеньи нашу младость
Взростила чуждая семья.

Пушкин останавливал внимание на социальных причинах, толкнувших братьев на разбой. Поэтому он настойчиво подчеркивал крайнюю их бедность. Второй стих: „Взросли мы в бедности суровой“ Пушкин зачеркивает, предполагая, очевидно, дать более определенную характеристику печального детства братьев. Вместо этого одного стиха он пишет два:

В родном селеньи нашу младость
Взростила чуждая семья.

С 4-м стихом эта строфа выглядела так:

Нас было двое — брат и я,
В родном селеньи нашу младость
Взростила чуждая семья,
Нам редко выдавалась радость.

Однако последним стихом строфы Пушкин не был удовлетворен, зачеркнул его и над строкой стал набрасывать варианты:

Мы редко, редко знали радость,
Мы мало, редко знали радость.

Но и эти варианты не отвечали стремлениям поэта нарисовать наиболее суровую картину детства героев; поэтому сбоку он делает еще одну приписку, найдя, наконец, искомое выражение, четко вскрывающее нужную ему деталь:

Нам, детям, жизнь была не в радость.

Введением в стих слова „жизнь“ Пушкин добился усиления выражения, поясняющего, что героям никогда не выдавалась радость, что они вообще не знали ее. Поэтому Пушкин оставил приписанную сбоку строку в последнем варианте строфы:

Нас было двое — брат и я,
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья:
Нам, детям, жизнь была не в радость.

В окончательной отделке строфы глагол в третьем лице „взростила“ был заменен семантически равнозначимым „вскормила“, так как глагол „расти“ был введен во второй стих этой же строфы в первом лице. Далее, в черновиках Пушкин хотел развить характеристику отношений между героями-сиротами и „чуждой семьей“, вскормившей их:

Никто нас не утешал.

Написав эту строку, Пушкин сразу же зачеркнул односложное слово „нас“, так как оно нарушало четырехстопный ямб, и сверху, вместо него, написал „сирот“; 2-й стих

Приветом лаской

был также отстранен. Оставив двустопные, Пушкин создает иную художественную комбинацию, в которой использует отстраненные им стихи в другом словосочетании, которое долго не может найти, постепенно зачеркивая строки:

От колыбели (мало) перволетней
(Всегда в нужде, среди забот)
(В нужде суровой, среди забот)
Родясь для (вуж) горя, для забот.

Найдя удачный, по его мнению, стих, он пытается начать им новую строфу, пополнив ее ранее оставленными стихами:

Родясь для горя, для забот,
От колыбели перволетней
Никто не утешал сирот
Хвалой иль ласкою приветной.

Но почти законченное четверостишие не могло удовлетворить поэта, так как оно было синтаксически неуклюже: деепричастие в первом стихе, требующее существительного в именительном падеже, к которому оно относилось, не было согласовано с безличным местоимением „никто“ в 3-м стихе. Это заставило Пушкина отбросить всю строфу и начать новую.

После этой строфы Пушкин начинает строки, которые должны были быть расположены после 44-го стиха окончательного текста:

К унынию при(учились)выкали мы
(Своих ровесников) (бежали) чуждались
(Забав младенческих)
(И втайне) (рано)
(Невольню)
Невольню юные умы

(Привычной)
(Печальн)
(Суrowой)
(Зловещей) думой омрачались

Эта строфа должна была выглядеть так:

К уныню привыкали мы,
Забав младенческих чуждались.
Невольно юные умы
Зловещей думой омрачались.

Еще ниже Пушкин набрасывает несколько штрихов, позволяющих понять, что братья жили в деревне:

Бывало—нам одна отрада
(Бродить во)
(Вкруг отдыхающего) стада
(Кругом) (стада)
(Кругом) (украдкой) (бродить)
(Бродить и камнями разить)
бродить у стада
И (в) град камней в него метать
(Бродить и сыпать град камней)
И (слушать) (визг) (визг)
Услышать (блеянье ягнят)
(и слушать)
(И псов) (нрзб)
(Иль)
(Иль)
(На кровле горлицы)
(Иль гнезда горлицы) (горли) (нрзб)
(Или гнезда домашней птицы)
с (домашн)
(руко) срывать.

На следующей странице черновой рукописи Пушкин раскрывает истинное лицо своих героев, крепостных рабов, которым наскучила их доля и которые решили испытать иной жребий:

(Наскуча) (жизн) (бедн) (раб)
(И) (мы наконец)
(Наскуча) (белностью) барскою сохой
(Оставили чужую кровлю)
(Оставя мир)
(И жиз ь) (ост)
Забыв работу (работу полевую)
(нрзб)
(И жизнь ост)
Пошли на (д льной) стороне (чужой)
Испытывать судьбу (иную) (другую) иную.

Эти трудно читаемые строки должны были представлять строфу между 50-м и 55-м стихами окончательного варианта в следующем виде:

Наскучив барскою сохой,
Забыв работу полевую,
Пошли на стороне чужой
Испытывать судьбу иную.

Указание Пушкина на то, что его герои — крепостные крестьяне, бежавшие от помещика в лес, очень важно и свидетельствует о том, что реальные черты массовых бессарабских разбоев, черты социального порядка были Пушкиным учтены и фиксировались им в черновых набросках к поэме. Но и в беловом автографе Пушкин сохранил некоторые черты социальной характеристики братьев, хотя несколько смягчил их:

Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сирот
Ни бедной хижинки, ни поля;
Мы жили в горе, средь забот,
Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной.

Наконец, наметка следующей строфы ведет к предположению, что Пушкин изобразил действия своих героев как проявление сознательного протеста против рабства:

В жилье (зеленую) пустынную дубраву
(нрзб) (нам жизнь воров)
(в нрзб) (разбой удалый)
И стали жить им
(разбой) (разбой) (нрзб)
(Разбой) (пр. нрзб) (нам) по праву...
Наш промысел (при)
(А на)
Кистень пришел нам по руке...¹

Черновым наброском этой строфы заканчивается рукопись.

Начиная со стиха 59-го и кончая последним 235-м — рукопись не сохранилась.²

VI

При работе над поэмой, задуманной после знакомства с фактами бессарабского разбойничества, Пушкин широко использовал крестьянский „разбойничий“ фольклор. Разбойничьи песни, известные Пушкину из песенников конца XVIII в. и начала XIX в. и в устной передаче, были привлечены им не только в качестве вспомогательного материала при воспроизведении поэтической экспозиции ночного разбойничьего лагеря, но и как стилевой образец. Дворянско-буржуазные исследователи вскользь устанавливали сходство начала поэмы с отрицательным зачином народных песен и торопились перейти к сравнению „Братьев

¹ Слово „по праву“ может читаться и „по нраву“, тогда весь стих, очевидно, должен читаться „Разбой пришелся нам по нраву“, а не „Разбой принадлежит по праву“; окончательное решение этого вопроса невозможно.

² В центральном историческом архиве хранится одно из писем Пушкина Вяземскому, переданное в архив из шереметевского собрания остафьевских бумаг Вяземского. На обороте этого письма имеется 8 набело переписанных строк окончания „Братьев-разбойников“ от стиха 228 до стиха 235.

разбойников“ с байроновскими поэмами; между тем разбойничьи песни, несомненно, помогли Пушкину значительно глубже освоить продиктованную реальной действительностью тему и выработать стиль, который так понравился Николаю Раевскому и действительно представлял собой начало замечательного пушкинского реализма.

Уже первоначальные наброски плана поэмы, как я показывал выше, свидетельствуют о том, что Пушкиным была задумана поэма в стиле крестьянского фольклора: удалые волжские разбойники с песнями плывут в лодке по Волге; атаман и есаул, а с ними девушка, которая должна играть в поэме немаловажную роль.

В песеннике, приложенном Матвеем Камаровым к „Похождениям Ваньки Каина“, и в новиковском песеннике была опубликована приведенная выше песня волжских разбойников: „Что сверху то было Волги-матушки“. Песня эта, напоминающая собою программу „Братьев-разбойников“, была известна Пушкину. Это — одна из самых распространенных разбойничьих песен, зарегистрированных исследователями-фольклористами во множестве вариантов, и она могла подать Пушкину мысль написать в этом плане лирическую разбойничью поэму, при условии усложнения песенной описательности сюжетными мотивами любви атамана к девушке. Точно в таком стиле начат был Пушкиным самый ранний вариант поэмы: „По Волге, в темноте ночной“, свидетельствующий, что стилистическое оформление темы Пушкин думал выполнить при помощи крестьянских песен, которыми как раз в это время начал интересоваться.

Начало поэмы представляет собой отрицательный зачин, особенно широко распространенный в разбойничьих песнях: „Что не ясны соколички слетались, собирались добры молодцы-бродяги... На полянушку они, соколы, собирались, во кружок они, удалые, садились“; „Не голуби промеж себя воркуют, промеж себя разбойники речь говорят“; „Не леса шумят, не дубровушка—разыгралась волюшка атаманская“; „Не белые лебедочки солетались, не ясные соколички сопорхались“; „Не былинушка в чистом поле зашаталась“ и много других.¹

Из разбойничьих же и сходных с ними песен Пушкин почерпнул сведения о всегданнем отдыхе разбойников „*вкруг огней*“. Так, Б. В. Томашевский, работавший недавно над собранием пушкинских рукописей, принадлежавших академику Л. Н. Майкову и переданных после в ИЛИ АН СССР, обнаружил на одной из страниц пушкинскую запись первого стиха известной песни (включенной Комаровым в число Каиновых): „Уж как пал туман седой на сине море“.²

Запись, как указывает Б. В. Томашевский, сделана Пушкиным в 1821 г., т. е. как раз в то время, когда он начал работать над „Братьями-разбойниками“; под записью стиха Пушкин расставил значки, определяющие количество ударных и неударных звуков в стихе, с целью изучения метрики народной песни. „Все это, — пишет Томашевский, —

¹ См. Песенник 1780 г., часть I, 161, ч. III, 161. Песенник 1788 г., ч. II, 186, собр. Киреевского, „Великорусские песни“ Соболевского, сборники Сахарова, Мордовцева, М. Соколова и других.

² См. ст. Б. В. Томашевского, Из пушкинских рукописей („Литературное наследство“, т. 16—18, 274, 283). Там же воспроизведен снимок с указочной записью Пушкина.

попытки уловить ритм русского народного стиха, и все они имели для Пушкина практическое творческое значение“.

Для нас любопытнее всего то, что песня „Уж как пал туман на сине море“ могла дать Пушкину картину разбойничьего бивака:

Что далече, далече во чистом поле
Стояла тут дубровушка зеленая,
Среди ее стоял золотой курган,
На кургане *раскладен был огничек.*¹

Знакомясь с разбойничьими песнями, Пушкин выбрал из них те мотивы, которые казались ему наиболее художественными, наиболее типическими.

Одной из особенностей русских разбойничьих песен является то, что в зачине обычно дается картина лагеря разбойников — масса, и только потом из этой массы выделяется герой:

Разыгралась, разбушевалась Сура-река,
Она устьицем упала в Волгу-матушку,
На устьице вырос част ракивов куст,
У кустика лежит бел горюч камень,
*А у камушка сидят все разбойнички,
Сидят они дуван дуванят,*

или:

На славном острове на Стрижове
Собиралось собраньице молодецкое,

или:

Что не ясны соколички слетались,
Собирались добры молодцы бродяги.
*На полянушку они, соколы, собирались,
Во кружок они, удавые, садились.*

Наблюдения, которые Пушкин делал над разбойничьими песнями, заставили его учесть не только специфику их стилистической конструкции, но и сюжетные особенности. Предположения о том, что вначале поэма открывалась рассказом старшего брата, ни на чем не основаны. Если Пушкин и думал одно время о том, чтобы начать поэму рассказом старшего брата, и стал писать вступление четырехстопным амфибрахийем, то он сразу же отстранил этот вариант и позже приступил к работе над другим, начало которого оформил в фольклорном стиле.

Единая целеустремленность шайки („здесь цель одна для всех сердец — живут без власти, без закона“) подчеркивается почти во всех разбойничьих песнях; герои этих песен — чаще всего крепостные крестьяне, „сироты бедные“, „люди беглые“, „босые и все то прираздетые“ — очень крепко сознают свое единство, одинаковые условия жизни и цель:

Все-ли мы — братцы,
Все-ли мы — родные.
Однокровные.

Одно из основных сюжетных положений пушкинской поэмы — рассказ героя-разбойника о своем прошлом, как показывает тщательный

¹ На обороте автографа письма Плетневу от 18 июля 1825 г. имеется записка Пушкина, которая могла быть сделана раньше: „*Не курится там огонек малешенек*“ (см. указ. ст. Томашевского, 277).

анализ черновиков Пушкина, целиком вытекает из разбойничьих песен. Как известно, разбойник начинает свой рассказ с того, что он с братом вырос в суровой нужде:

Нас было двое — брат и я.
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья,
Нам, детям, жизнь была не в радость.

Во многих песнях разбойники рассказывают о своем тяжелом детстве, о том, что они жили сиротами:

После батюшки манехонький остался,
Не батюшка меня вспоил-вскормил,
И не матушка меня взлелеяла,

или:

Воспородила меня родна матушка,
Воспоила, вскормила Волга-матушка,
Воспитала меня легка лодочка-ветляночка.

Дальше, в рассказе старшего брата Пушкин пытается вскрыть социальную почву, заставившую братьев взять в руки нож и пойти на разбой; он говорит о том, что его герои:

Наскуча барскою сохой,
Забыв работу полевую,
Пошли на стороне чужой
Испытывать судьбу иную.

В сотнях крестьянских песен говорится о тяжелой жизни крепостных¹ о суровой бедности, о нужде и горе, от которых никуда не спрячешься, не укроешься, от которых одно спасение — итти с ножом на большую дорогу; этих песен, остро вскрывающих истинные социальные причины разбоев, мало собрано дореволюционными фольклористами, еще меньше опубликовано, так как они рассматривались правительством как „неприличное зло“, как одно из средств „возмущения умов“; но в немногих песнях, которые дошли до нас и которые могли быть известны Пушкину, доля крепостного бедняка раскрывается полно и ярко:

Я пойду ли, молодец,
С горя в темный лес,
Да срублю я, молодец,
Я иголочку, я вязовую.
Хорошо иглой шить,
Под дорогой жить.¹

Соединенные Пушкиным эпитеты „чужая“ и „дальная“ — по отношению к „стороне“ — также взяты им из разбойничьих песен. Крепостные крестьяне, бежавшие от своих помещиков, и солдаты-дезертиры старались уйти возможно дальше, чтобы избежать поимки и расправы за побег; это нашло соответствующее отражение в разбойничьих песнях. Матвеем Комаровым в песенник Ваньки Каина была

¹ „Современник“ 1851, кн. 5. См. также А р и с т о в, Об историческом значении русских разбойничьих песен („Филологические записки“, Воронеж, 1874).

включена замечательная песня о двух братьях-разбойниках, убежавших в далекие края и там промышлявших разбоем:

Ах, далече, далече, в чистом поле
Стояло тут дерево высокое.
Под тем ли под деревом выростала трава,
На той ли на травоньке расцветали цветы,
На тех ли на цветах два братца сидят,
Два братца сидят, два родимые.
Большой-то братец в цимбалы играл,
А меньшей-то братец песню припевал:
*Породила нас матушка, двух-то сыновей,
Вспоивши, вскормивши, ничему нас не учил,
Научила молодец чужа дальна сторона,
Чужа дальна сторона, понизовы города.*

Эта песня в 1836 г. была переведена Пушкиным на французский язык (для Лева-Веймара) как одна из типичных, по мнению Пушкина, русских песен.¹

Т. А. Мартемьянов в одной из своих статей² приводит стихотворение крепостного поэта, бежавшего от своего барина, князя Долгорукова, за границу; стихотворение это, рисуя ужасную жизнь крепостного, заканчивается тем же мотивом:

Что с того время я гулять пошел
На чужую дальну сторону,

или:

Как бы на молодца
Не служба государева,
Не наборы солдатские,
Не ходил бы я, молодец,
По чужой дальней стороне,

или:

Как отец-то сына со двора согнал:
Ты ступай-ка, сын, со двора долой,
Ты спознай-ка, сын, *чужу дальню сторону.*³

Из всех разбойничьих песен, известных Пушкину, его, несомненно, привлекала больше всего: «Не шуми ты, мати, зеленая дубровушка», старинная разбойничья песня крестьянства, которое в смелости поступков и решительности разбойников видело геройство. Эта песня — одна из самых распространенных среди крепостных крестьян в XVIII в. и начале XIX в.; она неразрывно связывалась Пушкиным с фигурами крестьян-бунтовщиков. В 1832 г., работая над «Дубровским», Пушкин включает ее в XIX главу повести. В 1834—1835 гг., при работе над «Капитанской дочкой», Пушкин деликом включил «Дубровушку» в сцену, изображавшую пугачевский стан; и снова, как и в «Дубровском», он подчеркнул равенство бунтовщиков, их колоритную романтичность:

¹ См. «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты», «Академия». 1935, 618; эта песня была включена в песенник Нюкова.

² Т. А. Мартемьянов, «Крепостное право в народной словесности» («Исторический вестник» 1906, т. IX, 867).

³ См. Аристов, Об ист. знач. русск. разб. песен, 106, 110.

„Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого... *Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю.* Разговор шел об утреннем приступе, об успехах возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева... Поход был объявлен к завтешнему дню. „Ну, братцы“, сказал Пугачев: „затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков, начинай“. Сосед мой затянул тонким голосом *заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:*

Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что завтра мне доброму молодцу в допрос итти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал.
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всю правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первой мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий мой товарищ, то мой добрый конь,
А четвертой мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать.
Я за то тебя, детинушка, пожалуй
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом“.

„Выразительные слова“ „простонародной“ „заунывной“ песни „про виселицу“ поразили Пушкина за тринадцать лет перед тем, как он включил ее в одно из лучших своих произведений и заставил потрясенного Гринева проникнуться ужасом; „Дубровушка“ стояла в памяти Пушкина, когда он работал над „Братьями-разбойниками“:

*В товарищи себе мы взяли
Булатный нож, да темну ночь.
Забыли робость и печали,
А совесть отогнали прочь.*

В десятки песен введены эпизоды веселья разбойников после грабежа, с даровым угощением, пьянством и ласками девушек, эпизод, отмеченный еще в сборнике Кириши Данилова и песенниках конца XVIII в. и начала XIX в. (атаман, грабя с шайкой богача, который „пшеницы не пашет“,

„все калачики ест“, „денежки собирает, да в кубышечку кладет“, кричит хозяину „громким голосом своим“, чтобы он „поворачивался, раскошелывался“ и дал братству „позавтракать“); чаще всего товарищеские попойки совершались в придорожной харчевне, глухой корчме, хозяин которой был сам связан с разбойниками. Пушкин также ввел в поэму эпизод разгульного веселья разбойников:

Зимой бывало в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.
Кто не боялся нашей встречи?
Завидели в харчевне свечи—
Туда! к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли — все даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем.

По материалам разбойничьих песен Пушкиным разработана и сцена заключения братьев в остроге. Так называемые „острожные“ песни составляют значительную часть цикла „разбойничьих“ песен. Острог почти всегда был итогом деятельности разбойников, заканчивавших свои похождения под кнутом и плетью или на эшафоте. Вполне понятно, основным мотивом, проходящим сквозь все острожные песни, является тоска заключенных разбойников по воле, по прежнему раздолю и полное отсутствие каких бы то ни было покаянных настроений. При сопоставлении острожного сиденья с вольными грабежами, с гулянками в харчевнях и жизнью в лесу разбойники тянулись к свободе и к прежнему молодечеству, сравнивали свою долю с судьбой птицы:

Как бывало ясну соколику да времечко:
Он летал млад ясен сокол высокохонько,
Высокохонько летал по поднебесью,
Уж он бил-то побивал гусей, лебедей,
Гусей, лебедей, уток серых,
Как бывало мелкой пташечке пролету нет.
А нонеча ясну соколику время нет:
Сидит-то млад ясен сокол во поимани...¹

Пушкин подверг литературной правке этот фольклорный мотив, но характер его, с тоской „по прежней доле“, с обращением к образу вольной птицы, остался тот же:

Но молодость свое взяла.
Вновь силы брата возвратились,
Болезнь ужасная прошла,
И с нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильней
Взяла тоска по прежней доле;
Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей.
Нам тошен был и мрак темницы,
И сквозь решотки свет денницы,
И стражи клик, и звон цепей,
И легкий шум залетной птицы.

¹ Аристов, Об ист. знач. русск. разб. песен, II, 156.

Этот мотив обработан Пушкиным в его замечательном стихотворении „Узник“, написанном в одно время с „Братьями-разбойниками“.

В редкой „разбойничьей“ песне можно встретить покаянные мотивы у заключенных разбойников. Пушкинские разбойники тоже не испытывают ни малейшего раскаяния. Младший брат бредит о том, что старший „позабыл в завидной доле“ о своем товарище, обоих их „взяла тоска по прежней доле“.

Одним из важнейших мотивов острожных песен является описание тяжелого, мучительного предчувствия заключенных разбойников, что скоро их поведут казнить, что на высоком помосте „грозный палач“ навсегда пресечет их жизнь:

Из Кремля, Кремля крепка города,
От дворца, дворца государева,
Что до самой ли Красной площади,
Пролегала тут широкая дороженька.
Что по той ли по широкой по дороженьке
Как ведут казнить тут добра молодца...
*Он идет ли молодец не отступается,
Что и тут царю не покоряется.*
*Перед ним идет грозен палач,
Во руках несет остер топор...*
Привели его на площадь Красную,
Отрубили буйну голову
Что по самы могучи плеча.¹

Пушкин не мог пройти мимо этого мотива, живо рисующего переживания заключенных разбойников, оттеняющего сущность их „романтической“ природы и помогающего вскрыть трагические чувства „обреченных виселице людей“. Поэт использовал в портрете больного младшего брата яркие краски „психической“ психологии охваченного ужасом человека:

...дико взгляд его сверкал.¹
Стояли волосы горою,
И весь как лист он трепетал.
То мнил уж видеть пред собою
На площадях толпы людей,
*И страшный ход до места казни,
И кнут, и грозных палачей.*

Нами указано только наиболее полно выраженное воздействие крестьянских „разбойничьих“ песен на те или иные эпизоды пушкинской поэмы; конечно, это воздействие гораздо шире и захватывает ряд других моментов (описание разбоя на большой дороге, похороны умершего разбойника и т. п.); однако, и приведенных сопоставлений достаточно для того, чтобы прийти к заключению, что еще в 1820—1821 гг. Пушкин стал очень серьезно интересоваться вопросом о возможности использования фольклора в своем поэтическом творчестве, и одну из своих „южных“ поэм почти целиком оформил по фольклорным материалам.

Конечно, рассматривать проблему воздействия крестьянского фольклора на пушкинскую поэму как процесс механического перенесения поэтом отдельных стилистических образцов фольклора в соответствующую

¹ См. песенник Ваньки Каина.

щие им эпизоды поэмы было бы ошибочным. Проблема использования Пушкиным фольклора гораздо глубже и сложнее; воздействие фольклора сказалось в гораздо более органических и полных формах: оно прежде всего определило собой почти всю систему мотивов поэмы в их совокупности, всю поэтическую фактуру стихов. Отсюда — насыщенность поэмы эпитетами фольклорного типа: *пенное вино, земля сырая, темна ночь, булатный нож, юность удалая, месяц ясный, ночь глухая, красные девушки, дремучий лес, чистое поле, грозный палач, завидная доля, тройка удалая, бедная сирота, тяжелый кистень*; отсюда — обилие слов, которые, как уверял Пушкин Бестужева, „оскорбят нежные уши читательниц“: *чарка, кистень, нож, харчевня, житье, шайка, молодцы, острог, кнут, палач, заступ* и т. п.; отсюда — песенные сравнения: „*Как лист он трепетал*“, „*Как свинец пошел ко дну*“ и др.; отсюда — народные синтаксические обороты:

Житье в то время было нам.

*Завидели в харчевне свечи —
Туда! к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли — все даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем.*

*И что ж? попались молодцы;
Не долго братья пировали,
Поймали нас... и т. п.*

Как известно, Николай Раевский очень высоко ставил „Братьев-разбойников“ и считал, что этой поэмой Пушкин сводит поэзию „с ее ходуль“, что „Разбойниками“ он „завершит распространение простого и естественного языка“; известно и то, что поэт сам был вполне удовлетворен стилем поэмы („*как слог я ничего лучше не написал*“).

В. Виноградов, автор недавно опубликованной очень серьезной, хотя и имеющей ряд спорных положений, работы „Язык Пушкина“ приходит к подтверждающим мою точку зрения выводам:

„*Этапом на пути демократизации стихового языка Пушкина была поэма „Братья-разбойники“* (курсив мой. В. З.). Она по языку резко выделяется из предшествующих произведений Пушкина. С лексики и фразеологии решительно совлекается экспрессия салонной „литературности“. Простонародность выступает уже не как экзотический словесный материал, а как область новых характеристических форм речи. Творческие усилия Пушкина направлены на воссоздание народно-эпической „размашки“, на достижение экспрессивной свободы повествования“.¹

В самом рассказе разбойника, — замечает Виноградов, — „простонародный язык находит более широкое, свободное применение, выражаясь в отклонениях разбойничьих песен и вообще народно-поэтического творчества“... „Простонародность проявляется в открытом, нарочитом употреблении „низких“ слов и выражений, в развязной и непринужденно грубой экспрессии повествовательного стиля, выражающейся и в синтаксических формах разговорного языка“.

¹ В. Виноградов, Язык Пушкина, „Академия“ 1935, 417—419.

Все поэтические компоненты „Братьев-разбойников“, а главное — сюжет и содержание поэмы привели Пушкина к сомнению в возможности появления поэмы в печати.

VII

Пушкин не думал печатать „Братьев-разбойников“, об этом достаточно красноречиво свидетельствуют письмо Муханова Рылееву, письмо Е. Н. Орловой А. Раевскому и письмо самого Пушкина. Но о существовании поэмы Пушкин писал своим друзьям.

Первое упоминание о „Братях-разбойниках“ имеется в черновике письма Пушкина Гнедичу от 29 апреля 1822 г. из Кишинева: „есть у меня еще отрывок стихов 200 — прислать мне вам его для цензуры?“¹ Не может быть никакого сомнения в том, что отрывок, состоящий из двухсот стихов — „Братья-разбойники“, так как „Кавказский пленник“ отсылался Гнедичу с этим же письмом, а „Бахчисарайский фонтан“ начат был позже.² Но, будучи уверен в невозможности опубликования „Братьев-разбойников“, Пушкин исключил приведенные строки из белого текста письма. Важно то, что Пушкин (а известно, как строго и внимательно он относился к каждому стиху) определяет размеры отрывка. В сохранившемся (печатном) тексте поэмы двести тридцать пять стихов; следовательно, текст, переделанный Пушкиным для печати, по размерам приблизительно был равен отрывку в первой редакции, законченному к апрелю 1822 г. (Пушкин в письме к Гнедичу мог взять круглую цифру, что он часто делал, определяя размеры стихов).

Летом 1822 г. (а может быть немного позднее) Пушкин решил оставить работу над продолжением поэмы. 8 декабря 1822 г. Е. Н. Орлова (дочь Раевского, жена М. Ф. Орлова) писала своему брату Александру Раевскому: „Пушкин послал Николаю (Раевскому. В. З.) отрывок поэмы, которую он не думает ни печатать, ни кончать“.³

До сих пор в пушкиноведении принято было утверждать, что „Братья-разбойники“ до появления в „Полярной звезде“ были известны очень немногим друзьям поэта: Раевскому, Орлову. Однако упускалось из вида очень важное обстоятельство: еще в начале мая 1823 г., за два года до появления отрывка в „Полярной звезде“, „Братья-разбойники“ были известны широкому кругу писателей в Петербурге (да, как увидим ниже, не только в Петербурге).

9 мая 1823 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому из Петербурга в Москву: „Есть ли у тебя отрывок Пушкина „Братья-разбойники“? Я вчера только достал его. Если нет, то пришло“.⁴ 8 мая рукопись „Братьев-разбойников“ (или список) была в руках Тургенева, а спустя три дня он снова писал Вяземскому: „Nous avons lu les nouveaux vers de Пушкин, qu'il a critiqué, quant au *Палач и кнут* (курсив Тургенева. В. З.) d'une manière très piquante“.⁵

¹ „Письма Пушкина“, под ред. Б. Л. Модзалевского, I.

² К этому выводу приходит и Б. Л. Модзалевский (см. его комментарии к „Письмам“, I, 241—242).

³ „Былое“ 1906, октябрь, 308.

⁴ Остафьевский архив, II, 321—322.

⁵ Там же, II, 322. „Nous“—Тургенев, большой Батюшков и Е. Муравьева.

Очевидно Вяземский настойчиво просил Тургенева прислать ему „Братьев-разбойников“, так как 22 мая Тургенев обещал ему в письме: „Пошлю отрывок Пушкина сегодня, если возвратит Греч, коему отдал для прочтения сегодня в собрании“.¹ Но еще за два дня то того, как Тургенев писал Вяземскому о том, что „отрывок“ находится у Греча, Н. М. Языков писал своему брату А. М. Языкову из Дерпта в Симбирск: „Слышно, что Пушкин написал новую поэму Братоубийца. Слышал ли ты об этом, и как похваляют ее критики?“² (Очень важно то, что и у петербургских друзей Пушкина был именно отрывок).³

В летописи Вольного общества любителей российской словесности, на заседании которого, как уверял Тургенев Вяземского, Греч должен был читать „Братьев-разбойников“, в информации о публичном заседании 22 мая 1823 г. (число, на которое ссылается Тургенев), происшедшем в доме Державина под председательством Греча, упоминаний о „Братях-разбойниках“ нет. 22 мая 1823 г. читали: Булгарин — „Отрывки из жизни Марины Мнишек“, Н. И. Тургенев — „Век Елизаветы и Екатерины“, Н. А. Бестужев — „Об увеселениях в царствование Петра Великого“, А. О. Корниловича, Д. М. Княжевич — монолог Иоанны д'Арк из шиллеровой трагедии, переведенной Жуковским, А. Е. Измайлов — басню Вяземского „Мудрость“ и свои сказки в стихах „Бегун и кляча“, „Так, да не так“ и „Сметливый эконоом“, Греч — отрывки из своих „Воспоминаний о Германии“, В. И. Туманский — отрывки из „Войнаровского“ Рылеева, А. А. Бестужев — „Прощание“ Пушкина, Д. М. Княжевич — сцену из „Федры“ Расина в переводе М. Е. Лобанова и „Послание к Ф. П. Львову“ графа Хвостова, В. М. Федоров — „Ободрение“ и секретарь общества А. А. Никитин — отрывок из биографии Дмитриева Вяземского.⁴

А. А. Бестужев 23 мая 1823 г., на другой день после собрания Общества, писал Вяземскому о предварительном совещании, происшедшем перед собранием: „Сперва споры были: назначить или не назначить публичное чтение. Тому иные противились, потому что сами ничего не сделали; другие сомневались, сделают ли что-нибудь путное остальные; но, как всякий из званых хотел попасть в избранные, большинство решило: назначить. Пошел перебор пьес“.⁵

Как видно из письма Бестужева, споры были очень жестокие, и Греч, по всей вероятности, побоялся предложить для чтения „Братьев-разбойников“. „Надо вам сказать, князь, — писал Бестужев, — что у

¹ Остафьевский архив, II, 322.

² Языковский архив, СПб., 1913, I, 73.

³ 13 мая 1823 г. Пушкин писал из Кишинева Гнедичу: „Мне никак нельзя согласиться на присовокупление новых бредней моих; они мною обещаны Як. Толстому и должны поступить в свет особливо. Правда, есть у меня готовая поэмка, да цензура“ („Письма“, I, 49). Б. Л. Модзалевский думает, что под „готовой поэмкой“ Пушкин разумел „Братьев-разбойников“ (см. его комментарий). Это мнение ошибочно. Пушкин не назвал бы отрывка готовой поэмой. Очевидно он имел в виду „Гавриилиаду“. П. О. Морозов, кажется, единственный из редакторов Пушкина, очевидно на основании этого же письма, считал, что „Братя-разбойники“ были закончены Пушкиным.

⁴ „Труды высочайше утвержденного Вольного о-ва люб. рос. слов. 1823 г.“ — „Соревнователь просвещения и благотворения“ 1823, т. V, 292—303.

⁵ „Старина и новизна“ 1904, кн. 8, 30—33.

нас в Обществе, бог весть от чего, завелись партии. Гнедич, которого сменили с вице-президентства, есть посеребренная пружина первой. Он посредством Дельвига и Плетнева, как сквозь решето, просеивает слухи, которые отправляются, пройдя змеинный род Воейкова. Следствием оных было неудовольствие Ф. Глинки на Греча и на Общество, которые, как он думает, желают его затмения. Другая партия есть партия положительного безвкусиа; у нее голова — князь Цертелев, а хвост (тела нет) Борис Федоров и еще два или три поползня. Есть и цензурные, или лучше сказагь, полицейские партизаны, именно — Воронов. Прочие суть благомыслящие гласные, полугласные и без слов“.¹

Бестужев дает подробную информацию Вяземскому не только о предварительном совещании, но и о публичном собрании Вольного общества, однако о „Братях-разбойниках“ не упоминает. Ни слова не говорит о „Братях-разбойниках“ и А. И. Тургенев, пославший Вяземскому в Варшаву подробное письмо-отчет о собрании 22 мая.

Надо полагать одно из двух: либо Греч в пылу споров побоялся предложить „Братьев-разбойников“ (это вероятнее), либо „полицейские партизаны“, вроде Воронова, отвергли чтение пушкинской поэмы на предварительном совещании (но тогда, очевидно, Тургенев или Бестужев сообщили бы об этом Вяземскому).

Вопрос о том, каким образом литературная общественность Петербурга узнала о „Братях-разбойниках“ задолго до того, как Пушкин послал поэму Вяземскому, сейчас уже может быть решен с полной категоричностью.

В конце 1822 г. Е. Н. Орлова сообщала Александру Раевскому, что Пушкин послал Николаю „отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать“.

Где в конце 1822 г. и весной 1823 г. был Николай Раевский? Куда Пушкин послал „Братьев-разбойников“? На это дают ответ материалы из „Архива Раевских“.²

С 23 октября 1821 г., будучи ротмистром лейб-гвардии гусарского полка, Николай Раевский был назначен адъютантом исправляющего должность начальника Главного штаба генерал-адъютанта И. И. Дибича. Дибич по своей должности обязан был находиться в Петербурге, и, конечно, Раевский, как его адъютант, безвыездно жил там же до 1 января 1824 г., когда, получив чин полковника, был назначен в Курляндский драгунский полк, стоявший в Киевской губернии. По крайней мере все письма Николая Раевского к родным, датированные весенними месяцами 1823 г. и сохранившиеся в архиве Раевских, писаны из Петербурга.³

В Петербург Пушкин и отправил в декабре 1822 г. отрывок поэмы, которую он не думал „ни печатать, ни кончать“. Н. Раевский получил „Братьев-разбойников“ в декабре 1822 г. (или в первых числах января 1823 г.). По всей вероятности, Пушкин сопроводил отсылку поэмы письмом, в котором предупреждал приятеля не говорить о „Братях-разбойниках“, что Раевский и выполнял четыре месяца.

¹ „Старина и новизна“ 1904, кн. 8, 30—32.

² Архив Раевских, т. I, СПб., 1908, 233—235.

³ Там же, т. I, 233—235.

В начале мая 1823 г. поэма стала известна Тургеневу, Гречу, а через последнего, пытавшегося читать ее на собрании Вольного общества, и петербургским литературным кругам; во всяком случае, в десятых числах мая о поэме заговорили многие, свидетельством чего является митированное выше письмо Языкова брату.

Можно предполагать, что в апреле 1822 г., в недошедшем до нас письме, Пушкин разрешил Раевскому показать поэму их общим петербургским приятелям (например, Жуковскому, который весной 1823 г. жил в Петербурге, в одной квартире с Воейковым, на Невском, у Аничкова моста; от Жуковского Воейков, повидимому, узнал о „Братях-разбойниках“ и списал поэму для себя). Однако можно предполагать и то, что Раевский сам, без позволения Пушкина, не счел нужным скрывать существование поэмы от ближайших друзей поэта, тем более что Раевский был очень высокого мнения о „Братях-разбойниках“. Таким образом поэма в списках стала известной петербургским писателям, и, как уже указывалось, в 20-х числах мая 1823 г. А. И. Тургенев отправил рукописную копию пушкинского отрывка в Варшаву, где в это время находился Вяземский.

31 мая 1823 г. Вяземский сообщил Тургеневу о впечатлении, которое произвели на него „Братья-разбойники“: „В его (Пушкина. В. З.) „Разбойниках“ чего-то недостает; кажется, что недостает обычной очаровательности стихов его. Более всего понравилось мне: бред больного брата и сцепление увещаний в отношении старика с состраданием оставшегося брата к старикам. Я благодарил его и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать и с кандалами на ногах. Я пробую, сколько могу, но все что-то ныряю ко дну. Дело в том, что их было двое, а мне достается одному уплывать на остров rassудка, вопреки погоне Красовских с товарищами“.

Рылеев и Бестужев почувствовали, однако, иные, гораздо более действенные черты в „Братях-разбойниках“. Рылеев, декларировавший в своих стихах идею гражданственности, работавший над стихом, рассчитанным на широкую народную аудиторию, создавший десятки героев, вся целеустремленность которых была направлена на борьбу с „самовластием“, не мог не заинтересоваться поэмой Пушкина, в которой новый, необычайный в дворянской литературе 30-х годов, герой боролся с ножом в руках за свою свободу и независимость, язык которой сохранил в себе „библейскую похабность“ и был лишен „следов европейского жеманства и французской утонченности“. И если Александр Тургенев заметил „острую манеру“, с которой Пушкин изображал своего героя, то Рылеев и Бестужев заинтересовался социальный облик этого героя. Декабристам—издателям „Полярной звезды“—„Братья-разбойники“ были созвучны всеми своими чертами. Поэтому Рылеев и Бестужев настойчиво просили Пушкина дать свое согласие на то, чтобы отрывок был напечатан в „Полярной звезде“.

13 июня 1823 г. Пушкин сообщил Бестужеву, что он согласен напечатать отрывок, оставшийся после уничтожения поэмы у Николая Раевского; он писал, отвечая на просьбу Бестужева учесть потребности „Полярной звезды“ (на 1824 г.: „В рассуждении 1824 года, постараюсь прислать тебе свои бессарабские бредни; но нельзя ли вновь осадить цензуру и, со второго приступа, овладеть моей Антологией. Разбой-

ников я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского; если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог не испугают нежных ушей читательниц „Полярной звезды“, то напечатай его. Впрочем, чего бояться читательниц, их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем“.¹

Но, как и предполагал Пушкин, цензура воспрепятствовала опубликованию отрывка в альманахе „Полярная звезда“, даже в той очевидно смягченной Пушкиным редакции, которая была отослана им Бестужеву. Цензор потребовал исключения из поэмы „попа“ и „грез“ младшего разбойника, которые казались неприемлемыми для цензуры по двум причинам: потому что в „грезях“ заключенного „злодея“ не было никакого раскаяния, что он бредил о разбоях в „чистом поле“ как о самом лучшем в его жизни, и потому что в поэме грезы про „страшный путь до места казни, и кнут, и грозных палачей“ были слишком выпуклыми.

Бестужев в недошедшем до нас письме (даже, как видно из ответа Пушкина, в нескольких письмах) известил Пушкина о созданных препятствиях и, по всей вероятности, просил разрешения на дальнейшее смягчение мест, показавшихся цензуре недопустимыми в печати.

Пушкин ответил Бестужеву 29 июня 1824 г. из Одессы: „Я думал, что цензура ваша поумнела при Шишкове, а вижу, что и при старом по старому. Если согласие мое не шута тебе нужно для напечатания Разбойников, то я никак его не дам, если не пропустят *грез* и *харчевни* (Скоты, скоты, скоты), а попа к черту его“.²

Появление „Братьев-разбойников“ затянулось надолго. Вяземский в сентябре — октябре 1823 г. написал Пушкину о впечатлении, которое произвел на него отрывок поэмы. Письмо Вяземского не сохранилось, но следует предполагать, что он повторил Пушкину то, о чем писал А. И. Тургеневу: что „Братьям-разбойникам“ недостает „обычной очаровательности“ пушкинских стихов. Дело в том, что Вяземский был все-таки одним из самых активных „караминистов“, и „простонародность“ Пушкина не могла ему понравиться. Но Пушкин держался в это время несколько иных взглядов на язык. В ноябре 1823 г. он писал Вяземскому: „Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и фр[анцузской] утонченности“.³

Очевидно Вяземский просил Пушкина, чтобы он прислал рукопись отрывка, с которым Вяземский был знаком по петербургским спискам, так как 11 ноября 1823 г. Пушкин выслал ему отрывок, присвокупив следующее замечание: „Вот тебе и Разбойники. Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 820 году в бытность мою в Екатеринославе, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражи мною не выдуманы. Некоторые стихи напоминают Шил[ьонского] Узи[ика],

¹ Текст письма свидетельствует, что Пушкину было известно о том, что Бестужев знает поэму, или, по крайней мере, слышал о ней раньше.

² „Письма“, т. I, 87. Б. Л. Модзалевский слово „грез“ читает — „жид“. Это неверно. В автографе слово „грез“ — ясно.

³ „Письма“, I, 60.

это несчастье для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 821 года“.¹

Пушкин, осваивавший во время своего пребывания на юге России творчество Байрона, испытавший на себе воздействие его гения, понимал, что в „Братьях-разбойниках“, романтической поэме, могут увидеть следы подражания хотя бы уже благодаря некоторым узко формальным моментам; поэтому он и делает соответствующие предупреждения Вяземскому; однако, последний меньше всего думал о сходстве пушкинской поэмы с „Шильонским узником“ и сделал на письмо Пушкина шуточную отметку: „Это предисловие к напечатанию не назначается“.²

Не согласился Пушкин и с замечаниями Вяземского об отсутствии „очаровательности“ в поэме. В письме от 14 октября 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: „Замечания твои на счет моих разбойников несправедливы; как сюжет *c'est un tour de force*, это не похвала, напротив; но *как слог я ничего лучше не написал* (курсив мой. В. З.). Бахчисарайский фонтан, между нами, дрянь“.³

Между тем, поэма не появлялась в „Полярной звезде“, цензура не пропускала некоторых стихов Вяземского и Пушкина. С ноября 1823 г. А. И. Тургенев писал об этом Вяземскому: „Я хлопотал за „Полярную звезду“ и говорил с цензором о твоих и Пушкина стихах, но не цензор виноват. Кое-что выхлопотал и возвратил стихи Рылееву, поручив ему сказать, что почел нужным. Делать нечего. Многое и при прежней цензуре встретило бы затруднения“.⁴ Любопытно то, что Тургенев склонен обвинять в задержке альманаха не цензуру, а самих авторов, которые, не считаясь ни с чем, наполняли свои стихи явно неприемлемым для цензуры содержанием.

Пушкин потерял надежду на то, что Рылеев и Бестужев смогут провести „Братьев-разбойников“ „сквозь врата цензуры“, и решил, что он в праве отдать отрывок в другой альманах. Как раз в это время вышли первые части „Мнемозины“ Кюхельбекера, и Пушкин счел нужным, напечатать злополучную поэму в альманахе своего друга, который испытывал к тому же служебные неприятности. Пушкин написал о своем желании Вяземскому, но ответа от него не получил. 15 июля 1824 г. он вторично напомнил Вяземскому о „Мнемозине“ и своей поэме: „Кюхельбекер едет сюда — жду его с нетерпением. Да и он ничего ко мне не пишет; что он не отвечает на мое письмо. Дал ли ты ему разбойников для Мнемозины? — Я бы и из Онегина переслал бы что-нибудь, да нельзя: все заклеяно печатью отвержения“.⁵

Буквально в те дни, когда Пушкин хлопотал о возможности напечатать поэму в „Мнемозине“, давний „приятель“ Пушкина, как его иронически называл поэт, А. Ф. Воейков сидел в Царском Селе над своей статьей „Путешествие из Сарепты на развалины Шори-Сарая“, куда со свойственной ему беззастенчивостью включил 35 стихов из „Братьев-разбойников“.

¹ „Письма“, I, 61—62.

² Подлинник пушкинской записки, сделанный на последнем листе рукописи „Братья разбойники“, с припиской Вяземского хранится в Централархиве.

³ „Письма“, I, 55.

⁴ Остафьевский архив, II, 365.

⁵ „Письма“, I, 89.

Статья Воейкова была напечатана в июльском номере журнала „Новости литературы“, вышедшем в августе 1824 г.¹ Статья эта представляет значительный интерес с двух сторон: как пример дворянской интерпретации фигур волжских разбойников и разбойников литературных, с одной стороны, и как фон пушкинского отрывка, с другой; поэтому я позволю себе привести длинную цитату. В начале статьи автор указывает, что в 1813 г. он ехал на Кавказ лечиться и предпочел дорогу от Сарепты до Моздока. В это время в устье реки Сарпы остановился военный гардкоут, несущий сторожевую службу, командир которого лейтенант С—н любезно согласился везти автора. В промежутке между Сарептой и Селитряным городком гардкоут остановился, и лейтенант С—н предложил автору осмотреть пещеры волжских разбойников:

„— Хочешь ли видеть норы, в которых в старину укрывались наши корсары — волжские разбойники? — „Очень“. — Сойдем же на берег. Ослабь бечевку. К берегу. Бросай сходни! — закричал мой лейтенант, и покуда исполнялись его приказания, он вынул из шкафа пару добрых пистолетов, обил кремь, оправил полку, продул, зарядил их пулями и заткнул в широкие свои карманы. Янтарь задымился в устах его, и мы пустились в путь. Долго шли мы в сопровождении унтер-офицера, двух рядовых с ружьями и двух матросов, из коих один нес зажженный фонарь и пук восковых свеч, по мокрому лугу, беспрестанно увязая в грязи, между кустов и деревьев, в глушь тальника, направляя свой путь по зарубкам на деревьях. Перед нами открылась небольшая поляна; на ней, между толстыми корнями сгорбленного дуба, матрос поднял из досок сплоченную и снаружи мохом и корнями весьма искусно оправленную заслонку, снизу обитую железными полосами, с двумя толстыми кольцами для запора. Тут увидели мы нору столь узкую, что человек в нее с трудом пролезть может. По ветхой изломанной лестнице спустился туда сперва с фонарем старый наш унтер-офицер, которому все окрестности были знакомы. За ним сошел С—н и я. Солдаты и матросы остались у входа на карауле. Предосторожность необходимая, ибо и теперь еще изредка скрываются в тростниках бродяги... Спустился сажени две под землю, мы очутились на площадке; под низким сводом протеснились один за другим, с зажженными свечами, в просторный вертеп с палатами, нарами и печью, у коей широкая труба разделялась сверху на пять тоненьких, в разные стороны проведенных, дабы густо выходящий дым не мог обличить их убежища. Несколько отделов отгорожено досками, опять на несколько темных каморок перегороденных, с дверьми и петлями для замков. В иных чуланах (вероятно *почетных*: для агамана, эсаулов и женщин) находились кровати с рогожами из чолана (цветного камыша), крашенные сундучки, шкафчики и подвалы; в других разбросаны кадки, бочонки, ведра, штофы, ковши, разбитые стаканы (позолоченные, с двуглавым орлом или вензелем) и горшки; в иных переметные сумы, заржавелые ружейные стволы, пилы, свистки, подъемы; развешаны на деревянных гвоздях рога для пороха, связки ключей и крючьев, нанизанных на железную проволоку, большие ножи

¹ До 1926 г. исследователи не отмечали этой публикации. Не отметили ее в своем указателе и Н. Синявский и М. Цявловский. Н. В. Измайлов первый упомянул об этом. (см. публикацию Н. В. Измайлова „А. А. Бестужев до 14 декабря 1825 г.“ в сб. „Памяти декабристов“, Лг. 1926).

и нагайки. В переднем углу каждой каморки стояли образа, а в одном сделан для святыни резной киот за слюдою и перед ним лампада и огарки восковых свечей (доказательство самого закостенелого невежества. Грабят и умерщвляя, безумцы-злодеи верили, что свечою, соблюдением постов и земными поклонами они могли умиловить бога). Странно, что мы нашли коровий хлев и конюшню, верный знак, что сюда был другой вход, которого мы со всем старанием нашим не отыскивали. Старый служивый принес нам женский башмак подземной щеголихи: он шит из красного трипу, на превысоком каблуке, подбитом медною бляхою. Спереди вставлены в нем маленькие зеркальца и по мостам разноцветная фольга; весь башмак выложен в узор золотою нитью.

Чьи руки выкопали этот разбойничий вертеп? Кто были его ужасные обитатели? Из каких стран собрались они? Долго ли существовало их скопище? Чем кончились кровавые подвиги сих волжских корсаров? Может быть, здесь жили вместе и добрый, увлеченный обстоятельствами, с душою, ожесточенною братьями-человеками, и злой, находивший зверское удовольствие видеть смертные судороги младенцев, им заколонных, и хрипение старцев, им зарезанных. Может быть, здесь скрывался сын, оклеветанный мачехою и проклятый родителем; опозоренный женою муж отмщал за честь свою невинным плавателям; игрок, которого друзья искусно ограбили; солдат, привыкший на войне к грабежу и насилию; бродяга, которого преступные родители в детстве учили просить милостыню и юродствовать; купец, проторговавшийся и желавший с ножом в руке остановить фортуна на большой дороге; дворянин, в похожей на ненависть любви своей к роду человеческому устремившийся по следам Карла Моора злодействами водворить на земле добродетель и в красноречивых воззваниях выдававший себя за посредника между сильным и слабым, богатым и бедным, в самом же деле бывший бешеным нарушителем божеских и человеческих постановлений, *филантропом на манер Робеспьера, Марата и Дантона*:

Не стая воронов слеталась
На груди тлеющих костей”...

и т. д. — всего тридцать пять стихов Пушкина. Под стихами стояла сноска: „стихи А. С. Пушкина“, а статью заключала дата „Июня 20, 1824, Царское Село“ и подпись „Воейков“.

Как видно из содержания статьи, „Братья-разбойники“ были использованы Воейковым в качестве поэтической иллюстрации к собственным фантастическим домыслам. Читатель подготавливался к восприятию образа разбойника как „бешеного нарушителя божеских и человеческих постановлений“, как „филантропа на манер Робеспьера, Марата и Дантона“. Печатать стихи без согласия их автора было закономерным явлением для Воейкова. Он и до публикации „Братьев-разбойников“ напечатал ряд пушкинских стихотворений („Элегия“ и др.).

Нам неизвестно, как отнесся Пушкин к факту появления отрывка из „Братьев-разбойников“ в „Новостях литературы“ без его разрешения, да еще в обрамлении, которое заставило звучать отрывок совсем по-иному. Надо полагать, что Пушкин делал соответствующие замечания своим друзьям, от которых Воейков мог достать список поэмы.

Литературный разбой Воейкова обозлил Рылеева и Бестужева; они написали Воейкову о его незаконном поступке очень резкое письмо, о котором упоминает в письме к своим сестрам 8 сентября 1824 г. Бестужев: „Вы спрашиваете о Полярной — она в весьма худом положении до сих пор. Пушкин в ссылке — Воейков подлец (что мы ему и написали) перепечатал начало Разбойников — другие заняты своим интересом“.¹

21 марта 1825 г. вышла „Полярная звезда“, в которой отрывок пушкинской поэмы был напечатан полностью с незначительными изменениями. Художник Галактионов сделал специальную иллюстрацию к поэме. Изменения („все ужасы“ вместо „все степени“, „вот узы“ вм. „суть узы“, „кто грабит“ вм. „кто режет“, „кто лет и пола не щадит“ вм. „кто не прощает, не щадит“, „и вот луна“ вм. „теперь луна“, „чаша“ вм. „чарка“, „угрюмой неги“ вм. „угрюмой ночи“, „иль... убогой“ вм. „иль *пол* убогой“) были потом устранены Пушкиным в первом издании „Братьев-разбойников“ отдельной книжкой в 1827 г. (за исключением слова „*пол*“, которое заменило собой многообразие только через 10 лет, в „Поэмах и повестях“ 1835 г.).

Эти изменения отнюдь не принадлежали Бестужеву и Рылееву, так как текст, напечатанный на восемь месяцев раньше Воейковым, не имеет разночтений с текстом „Полярной звезды“ (исключая слова „все степени“). Следовательно, редакторы „Полярной звезды“ корректировали отрывок согласно пушкинской рукописи, полученной Бестужевым от автора еще в 1823 г. Это тем более вероятно, что почти все эти разночтения имеются и в черновиках Пушкина. Однако ни в коем случае нельзя считать, что текст Воейкова и „Полярной звезды“ был в 1823—1825 гг. для Пушкина окончательным, и что, готовя отдельное издание поэмы в 1827 г., Пушкин вносил *новые исправления* в устаревший для него текст; все то, что потом было узаконено в обоих изданиях 1827 г. и в собрании „Поэм и повестей“ 1835 г., имелось в черновиках Пушкина 1821—22 гг. как самое для него приемлемое и, наоборот, разночтения, вошедшие в тексты Воейкова и „Полярной звезды“ в черновиках зачеркнуты или заменены; следовательно, Пушкин отсылал в Петербург текст, переработанный им для печати.

Мне хочется указать на два любопытных разночтения: Пушкин предусмотрительно опустил аттестацию пригодности разбойника для подвига в шайке только в том случае, если он „не прощает, не щадит“; Пушкин заменил это многозначительное определение менее острым — „лет и пола не щадит“; кроме того, боясь упрека в нарочитой грубости языка, он отбрасывает слово „чарка“ (в пушкинских вариантах еще „кружка“) и заменяет его „высоким“ словом „чаша“.

Рылеев и Бестужев были очень довольны тем, что отрывок поэмы появился в их альманахе, так как по своему содержанию он как нельзя более подходил к тем требованиям, которые предъявлялись к литературе поэтами-декабристами. Поэтому, отсылая Пушкину в Михайловское через четыре дня после выхода экземпляр „Полярной звезды“, Рылеев

¹ См. публикацию Н. В. Измайлова „А. А. Бестужев до 14-го декабря 1825 г.“ (сб. „Памяти декабристов“, Л. 1920). Это письмо недавно обнаружено в архивах Института литературы Академии наук СССР.

(25 марта 1825 г.) написал ему восторженное письмо: „Как благодарить тебя, милый поэт, за твои бесценные подарки нашей Звезде. От Цыган все без ума, Разбойникам, хотя и давнишним знакомцам, также чрезвычайно обрадовались. Теперь для Звездочки стыдимся и просить у тебя что-нибудь; так ты наделил нас“.¹

Рылеев не напрасно называет „Братьев-разбойников“ давнишними знакомцами; как я уже указывал, почти всему литературному кругу обеих столиц поэма была известна задолго до появления в „Полярной звезде“.

В 1827 г. „Братья-разбойники“ были два раза напечатаны отдельной книжкой в московской типографии. Обе книжки цензуровал Снегирев, подписав первую 26 марта, а вторую 9 июня 1827 г. Необходимость второго издания была вызвана тем, что книгопродавец Ширяев пустил книгу в продажу по очень высокой цене.²

В тексте этих изданий Пушкин сделал ряд изменений сравнительно с текстом „Полярной звезды“ (об этих изменениях сказано выше).

В этом же 1827 г. А. Ф. Воейков снова напечатал отрывок из поэмы в „Славянине“³ от стиха: „Ах, юность, юность удалая“ по стих: „И стража отвела в острог“ включительно, ссылаясь на объявление своего же „Русского инвалида“ (1827, 144) о выходе в свет отдельного издания „Братьев-разбойников“.

В 1835 г. „Братья-разбойники“ были напечатаны в „Поэмах и повестях“. Это было последнее при жизни Пушкина издание поэмы, заключающее 235 стихов.

В первом же посмертном издании, вышедшем в свет под редакцией Жуковского и Плетнева, „Братья-разбойники“ стали печататься с прибавлением заключения, состоящего из 16 стихов (от „Умолк и буйной головою“ до „Она проснется в черный день“).

Вопроса о 16-ти заключительных стихах отрывка коснулся Н. О. Лернер, отвергнувший предположение П. О. Морозова о том, что автором заключения поэмы мог быть Жуковский. Лернер считает, что авторство Пушкина бесспорно: „Для сомнения в авторе нет места, — пишет Лернер, — и Жуковский тут не при чем. Есть прямое указание участвовавшего в редакции посмертного издания сочинений Пушкина его близкого друга П. А. Плетнева (Лернер ссылается на статью Плетнева „А. С. Пушкин“, опубликованную в X т. „Современника“ на 1838 г., стр. 39) на подлинную рукопись Пушкина, в которой находились заклю-

¹ Полное собр. соч. Рылеева, изд. „Академия“, 1934, 490.

² История двух изданий поэмы в 1827 г. обстоятельно изложена в интересной ст. В. Черемисова „О двух изданиях Братьев-разбойников“ („Пушкин и его современники“, выпуск VI, 133—156). См. также заметку Семена Богдановского „Об изданиях Братьев-разбойников“ („Пушкин и его современники“, вып. XXXI—XXXII, 147—148), который установил, что 2-е издание 1827 г. не поступало в продажу. Богдановский указывает, что в 1915 г. один из московских букинистов купил свыше 900 экз. 2-го издания „Братьев-разбойников“. Каждый из этих экз. представлял один сфальцованный книжный лист без обложки, что служило доказательством пребывания всего комплекта на складе у С. И. Киреевского (сына Ивана Киреевского), проживавшего в своем имении Гузеево, близ Москвы. Какое отношение ко 2-му изданию имел И. Киреевский, сказать трудно.

³ „Славянин“ 1827, 456—457.

чительные строки поэмы. На цитированные слова Плетнева ссылается и Л. Поливанов в своем издании сочинений Пушкина¹.

Установив, как ему казалось, авторство Пушкина, Н. О. Лернер пытался хоть приблизительно определить и время написания строфы: „К какому времени относится заключение поэмы, сказать невозможно, за отсутствием рукописи и каких бы то ни было других данных. Не следует упускать из виду, что сам Пушкин смотрел на „Братьев-разбойников“ не как на вполне законченное произведение (часть его он сжег, первоначальный замысел был гораздо шире), а как на отрывок из поэмы... Мне кажется, что „моральное“ окончание произведения не в духе Пушкина 20-х годов. Не было ли оно написано в 30-х?“

Однако дать определенные выводы о значении строфы Лернер отказался: „В праве ли была редакция посмертного издания вводить эти 16 стихов в текст? — спрашивает Лернер. — Пушкин в последний раз напечатал свою поэму в 1835 г. Если занимающие нас стихи были написаны ранее этого времени и не были внесены им в „Поэмы и повести“, это, вероятно, должно значить, что он их сознательно отбросил. Если же они написаны после выхода „Поэм и повестей“, то, конечно, Плетнев поступил правильно, присоединив их к поэме. Можно допустить также, что Плетнев, близкий к Пушкину и помогавший ему в его издательской работе, пользовался даже точным указанием самого Пушкина. Если же подобным мотивом Плетнев не располагал, и если рукопись, на которую он ссылается, принадлежала к более раннему времени, то едва ли он имел право присоединить к печатному пушкинскому тексту найденное им окончание поэмы. И с ним, и без него она производит вполне цельное впечатление. Эти 16 стихов *несомненно принадлежат Пушкину* (курсив мой. В. З.), но можно ли связывать их с поэмой в одно целое — вот вопрос, который при наличных данных мы отказываемся считать поддающимся определенному решению“.

Н. О. Лернер всю свою аргументацию основывает на словах Плетнева в его статье „А. С. Пушкин“. Однако эта же статья может привести к совершенно противоположным выводам. Обратимся к ней. Касаясь „Братьев-разбойников“, Плетнев пишет:

„В 1827 г. напечатаны сверх 3-й главы „Онегина“ следующие его (Пушкина. В. З.) поэмы: „Цыганы“, „Братья-разбойники“ и „Граф Нулин“. Ко 2-й из них впоследствии он присоединил небольшое вступление, но столь замечательное по новости сурового характера в картине и верности колорита, что оно может быть причислено к отрывкам самого высокого достоинства. Подобное тому прибавление к этой поэме, найденное в бумагах автора, помещено в новом полном его издании на конце поэмы, которая вся поразительна силою воли, глубиной ощущений и воплями сердца“.²

Отнюдь не пытаюсь обвинять Плетнева в мистификации, я хочу отметить несостоятельность некоторых его утверждений, одно наличие которых в статье заставляет не так уж доверчиво относиться к известию об окончании „Братьев-разбойников“, как это сделал Н. О. Лернер.

¹ „Вопрос об окончании Братьев-разбойников“ („Русский библиофила“ 1911, № 5, 69—71). Указанная статья Лернера включена им и в его книгу о Пушкине (Н. О. Лернер, Рассказы о Пушкине, „Прибой“ 1929, 204—206).

² „Современник“ 1838, т. X, 39.

Так, например, Плетнев уверяет, что Пушкин „впоследствии“ присоединил к „Братьям-разбойникам“ „небольшое вступление“, „замечательное по новости сурового характера в картине и верности колорита“. Под этим „небольшим вступлением“ надо понимать одно из двух: либо Плетнев имеет в виду 40 стихов зачина поэмы от „Не стая воронов слеталась“ до „И все вокруг его внимает“, либо он говорит о вступлении, неизвестном нам и таком же таинственном, как и четыре заключительных строфы отрывка; но и в том, и в другом случае Плетнев, повидимому, очень близок к области фантазии.

Выше доказано уже было, что петербургские писатели узнали от Николая Раевского о „Братьях-разбойниках“ в первых числах мая 1823 г., и что списки поэмы распространялись среди литераторов довольно широко; доказано было и то, что Воейков, используя возможность напечатать пушкинский отрывок, опубликовал часть его в августе 1824 г. В этой публикации Воейкова зачин поэмы „Не стая воронов слеталась“ был напечатан полностью. В июне 1823 г. Бестужев и Рылеев имели текст „Братьев-разбойников“ для „Полярной звезды“, в котором этот зачин также был. Следовательно, всякие догадки о том, что вступление в поэму, изображающее разбойничий лагерь, написано „впоследствии“, не имеют решительно никаких оснований. Замечание же Плетнева можно понимать так, что упоминаемое им „небольшое вступление“ написано Пушкиным после отдельного издания „Братьев-разбойников“ в 1827 г., что звучит совершенно нелепо. Если же предполагать, что Плетнев имеет в виду какое-то недосшедшее до нас введение в поэму, то становится уже совершенно непонятным следующий факт: во-первых, почему Плетнев как соредактор посмертного собрания сочинений Пушкина не включил его вступление, „замечательное по новости сурового характера“, в текст поэмы, так, как он сделал с заключением; во-вторых, почему это вступление исчезло столь же таинственно, как и последние 16 стихов.

Плетнев, очевидно, произвольно допустил путаницу в своей статье, написанной им без всяких ссылок на документы, по памяти, которая, надо сказать, довольно часто изменяла ему.¹

В архиве ИЛИ (№ 51, IV. П. 22) сохранился журнал заседания петербургского цензурного комитета от 12 октября 1837 г. за № 37 с заявлением редакции посмертного издания Пушкина, писанным рукой Плетнева, и протоколом заседания. На основании этих материалов можно выяснить следующее:

23 сентября 1837 г. Плетнев подал в цензурный комитет заявление:

„Поэма А. Пушкина „Братья-разбойники“ прежде напечатана была без окончания. Редакция, нашедши ныне это окончание, писанное собственною рукою автора, имеет честь препроводить оное на рассмотрение в цензурный комитет и покорнейше просит, если ничего не найдется

¹ Так, в этой же статье Плетнев заявлял, что Пушкин после окончания лицея появился в Петербурге в октябре 1817 г. (а не в июне-августе), что, закончив лицей, он знал немецкий и английский языки, что Одессу он оставил в конце 1824 г. (а не в июле), что, „возвращаясь из южной России в Псковскую деревню свою, он посетил Москву и Петербург“ и что тогда же „между рукописями его находился и Годунов“ и т. п.

в нем противного правилам книгопечатания, позволить напечатать его в том издании, которое теперь готовится“.

Заявление Плетнева рассматривалось в заседании комитета 12 октября 1837 г. На этом заседании присутствовали: ректор университета И. П. Шульгин и цензоры А. Л. Крылов, А. В. Никитенко, П. А. Карнаков, С. С. Куторга, А. И. Фрейганг и В. П. Лангер. Протокол вел Семенов, записавший следующее: „Слушали: отношение редакции сочинений А. Пушкина, с препровождением на рассмотрение цензуры окончания поэмы Пушкина „Братья-разбойники“, писанного собственною рукою автора. Определено: поручить рассмотрение сего стихотворения г. цензору, экстраординарному профессору Никитенко“.

Кроме того факта, что Никитенко не нашел в отрывке ничего предосудительного, так как он был включен в текст поэмы, а следовательно одобрен цензурой, в делах цензурного комитета ничего не сохранилось, как не сохранился и текст окончания, „писанного собственною рукою автора“.

Мне кажется, что те или иные выводы, касающиеся заключительных 16-ти стихов, до выяснения вопроса об исчезнувшей рукописи можно делать только предположительно. Один из путей, по которому в последнее время пошли некоторые исследователи, — сравнительный анализ эпилога „Братьев-разбойников“, с подсчетом эпитетов („свирепый“, „горючую“ и т. п.) и отысканием аналогий в поэмах Пушкина („Бахчисарайский фонтан“, „Цыганы“ и др.), — не оправдывает себя и может привести к очень неконкретным заключениям, напоминающим печальную ошибку профессора Корша, признавшего зувескую „Русалку“ произведением Пушкина. Это тем более вероятно, что лексические, синтаксические и поэтические особенности эпилога не чужды, надо сказать, и произведениям одного из редакторов посмертного издания — Жуковского (см., например, „Суд в подземелье“ и др. стихотворные повести Жуковского).

Пока же, до выяснения вопроса о местонахождении рукописи, безоговорочно приписывать авторство финальной сцены Пушкину нельзя, ибо для этого буквально никаких данных нет, и, может быть, напротив — следует считать, что заключительные 16 стихов написаны кем-то из редакторов 1-го издания, скорее всего Жуковским. С какой целью? Судить также трудно; приписка к поэме могла быть продиктована как цензурными соображениями, так и (что более вероятно) желанием придать незаконченной поэме моралистический оттенок, что шло в обычном для манеры Жуковского плане.

Еще одно замечание: в архиве Главного управления по делам печати (Архив внутренней политики, культуры и быта) сохранились (в деле с рапортами драматической цензуры — „Рапорты о пьесах, рассмотренных в 1842 г.“) некоторые данные о переделке поэмы „Братья-разбойники“ в драматическую сцену. Поэма переделана была автором-анонимом, скрывшимся под инициалами „Н... Р.“.

Я привожу рапорт цензора Геденова генерал-майору Дубельту:

„А. С. Пушкин написал маленькую поэму, или рассказ под заглавием „Братья-разбойники“. Разбойник, убежавший из тюрьмы и опять-таки занимающийся разбоем, рассказывает свою повесть в шайке своих товарищей. Он грабил, резал и, наконец, вместе с братом был пойман, за-

кован в кандалы и посажен в тюрьму. Там брат занемог горячкой и все бредил про старика, которого они зарезали. Наконец удалось обоим убежать из тюрьмы, убив двух солдат. Но младший брат вскоре умер, а старший на прежнюю ловитву пошел один, но, говорит он: „с тех пор всегда шажу морщины, мне страшно резать старика“.

Все это описано прекрасными стихами, но выставлять это на сцену, в лицах, *из разбойника, которого, без сомнения, будет играть г. Каратыгин, делать героя и молодца — конечно, противно всем правилам драматической цензуры, и пьеса по справедливости была запрещена* (курсив мой, В. З.).

Кроме вышеизложенного содержания, мне кажется, что еще многие причины требуют запрещения этой драматической сцены.

К стихам Пушкина приделал свои стихи г. Н. Р. Из уважения к первому русскому поэту должно бы запретить такие приделки. Еще бы, если эта приделка была нравственная (не о подобной ли „нравственности“ думали редакторы посмертного издания Пушкина, а также цензоры, касаясь вопроса о заключительных 16-ти стихах? В. З.), а то, когда разбойник говорит, что он не режет более стариков, г. Н. Р. от себя прибавляет:

Ты плачешь, полно брось печали,
К чему о прошлом вспоминать...
К добыче новой поспешим,
В шуму оружия вернее
Мы нашу грусть развеселим,

и тут все разбойники встают и отправляются на разбой. Занавес опускается.

Г-жа Яковлева представила эту пьесу вопреки желанию дирекции, и зная, что она уже была запрещена. Если дозволить актерам представлять вторично запрещенные пьесы на рассмотрение цензуры, нет причины, чтобы они не представили их в третий и десятый раз. В нынешнем году это уже второй пример...

Таковые поступки мне кажутся оскорбительными для цензуры. Г-жа Яковлева, вероятно, предполагает, что цензура решает сегодня так, а завтра иначе. Смеею просить о запрещении ныне представленной пьесы, а судить о поступке и цели г-жи Яковлевой представляю благоусмотрению вашего превосходительства. Цензор драматических сочинений М. Геденов“.

Дубельт наложил на рапорте Геденова следующую резолюцию: „*Запретить и сейчас уведомить г-жу Яковлеву, 15 июля 1842 г. Генерал-майор Дубельт*“.¹

¹ Ни в ЛОЦИА, ни в архивах театральной библиотеки им. Луначарского я не мог обнаружить текст пьесы „Братья-разбойники“ и выяснить, кто был ее автором. Думать, что какое-то отношение к этой пьесе имел Николай Раевский, было бы хоть и заманчиво, но очень рискованно. Из петербургских театралов начала 40-х годов инициалами Н. Р. подписывался драматург Николай Родчев. Пока этого вопроса разрешить нельзя. (Дризен в своей книге „Драматическая цензура двух эпох“ — „Прометей“, стр. 114—115, — касаясь вопроса о драматической переделке „Братьев-разбойников“ и ее запрещения, не делает никаких выводов, ограничиваясь небольшими цитатами из приведенного рапорта Геденова Дубельту.)

Факт запрещения постановки „Братьев-разбойников“ на сцене Драматического театра не случаен. В самой поэме отсутствовали моралистические сентенции, без которых, как казалось блюстителям „нравственности“, пьеса повела бы к „смущению умов“.

Еще при жизни Пушкина „Братья-разбойники“ были переведены на ряд иностранных языков. Первый перевод (на польский язык) относится к 1828 г. и сделан после выхода в свет отдельного издания поэмы; „Братья-разбойники“ переведены вместе с „Бахчисарайским фонтаном“: „Fontanna w Baczysyeraju. Dwa bracia rozbojnicy, poemat łomaczony z języka ross z Al. Puszkina, przez H. J. Ż.“¹

В 1829 г. в „Bulletin du Nord“ появился французский перевод „Братьев-разбойников“ в прозе: „Les frères brigands. Par A. Pouchkine.“²

В 1830 г. Chopin дал почти полный перевод „Братьев-разбойников“ (тоже в прозе) в „Revue Encyclopédique“ с небольшими комментариями, на характер которых я еще буду ссылаться ниже.³

VIII

Чрезвычайно любопытную картину представляет собой история освоения пушкинской поэмы критикой. Появление „Братьев-разбойников“ в „Полярной звезде“ вызвало всего три-четыре коротеньких отзыва, включенных в рецензии на альманах. Однако, помимо печатных отзывов, современники Пушкина делились впечатлениями о поэме в письмах и беседах. К моменту выхода в свет поэмы Пушкин имел уже репутацию „первого поэта“ России, к его произведениям предъявлялись повышенные требования, его стихи ожидалось с нетерпением, как большое литературное событие. Редкое письмо А. И. Тургенева к Вяземскому обходилось без упоминания имени Пушкина. Н. М. Языков ревниво допытывался у брата о характере успеха пушкинских стихов.

Рылеев, Бестужев и Тургенев хвалили „Братьев-разбойников“; Вяземский, один из наиболее последовательных апологетов „карамзинизма“, довольно скептически отозвался о языке поэмы, которой не доставало, по его мнению, „обычной очаровательности“ стихов Пушкина. После выхода „Полярной звезды“ мнения критиков разделились.

Очень хвалебный отзыв о поэме дал „Московский телеграф“, правильно усмотревший в „Разбойниках“ два важных момента: „*новость мыслей и выражений*“ и „*черты симпатии*“, которыми окружил Пушкин своего необычного героя. „Пушкин недостигаем никому, по крайней мере доныне, — писал рецензент „Телеграфа“, — в „Полярной звезде“ помещены два отрывка из двух его новых поэм „Цыганы“ и „Братья-разбойники“. В первом обрисована только картина цыган-

¹ Warszawa, 1828, W drukarni J. Wróblewskiego. 72 стр.

² „Bulletin du Nord“ 1829, t. III, № 10, 119—125.

³ „Revue Encyclopédique“ 1830, t. 45, 658—660.

Перевод этот не отмечен в пушкинских библиографических указателях.

Между прочим, Б. Казанский утверждал, что Ольдекоп в 1823 г. перевел „Братьев-разбойников“ на немецкий язык и издал вместе с русским текстом. Это утверждение — плод фантазии Б. Казанского. См. публикацию Б. Казанского „Разработка биографии Пушкина“ („Литературное наследство“, № 16—18, 1146).

ского табора — живая, яркая; но другой отрывок... не сказывайте имени поэта, читайте стихи его, и всякий вам скажет, что кроме Пушкина некому написать их. Хвалить можно, но лучшая похвала „Братьям-разбойникам“ будет, если кто-нибудь разберет каждый стих и вникнет в силу, красоту, новость мыслей и выражений. Каким волшебством постигает Пушкин тайну силы слов, как умеет *внушить участие, вдохнуть чувство разбойнику*; поэт забыт — мы слышим, как разбойник, ночью, в кругу своих товарищей, рассказывает им: я старший был пятью годами... Содрогаешься, читая мучения совести, видя, кажется, убийцу и привидения толпою окрест его. Слова „*мне душно здесь... я в лес хочу*“ приводят в трепет. Нет, Пушкину суждено великое назначение“. ¹

Однако „Московский телеграф“ выразил в своей рецензии мнение далеко не всей литературной общественности; если боевой в то время печатный орган „якобинца“ Полевого присоединился к мнению Рылеева, Бестужева и Тургенева и, после оценки „Братьев-разбойников“, предрекал Пушкину „великое назначение“, то „Сын отечества“ рассматривал поэму несколько иначе. В своих „Письмах на Кавказе“ Греч открыто нападает на „Разбойников“, главным образом за то, что герой поэмы „не везде говорит свойственным ему языком“: „Прислушиваясь к различным толкам о нашей поэзии, я слышал довольно резкие приговоры отрывку из поэмы „Братя-разбойники“. Главнейшее из обвинений есть то, что рассказывающий разбойник не везде говорит свойственным ему языком, часто сбивается на возвышенную поэзию, употребляет слова, разрушающие очарование правдоподобия и, так сказать, показывающие своего суфлера“; правда, Греч подслащивает свой приговор замечанием, что „несколько несвойственных простоте рассказа выражений нимало не ослабляет достоинство пьесы“, но его отрицательная оценка заслуживает внимания.

Он отмечает наличие в монологе разбойника „возвышенной поэзии“ не потому, что борется за реалистический стиль, а потому, что, по его мнению, эта „возвышенная поэзия“ свойственна только „возвышенным предметам“, а отнюдь не „злодею“, который сам по себе должен внушать отвращение. Участие „суфлера“ в монологах разбойника представляло для Греча недопустимую тенденциозность.

Вместе с тем Греч не мог все-таки не остановиться на реалистичности поэмы: „Чувствования, положения, зверские забавы и ужасы — описаны с природы. Какая быстрота действия и рассказа, какое картинное описание разбойничьего притона, какие ужасные местности“. Цель поэмы Греч видит в проповеди высокой нравственности и предвидении грядущего раскаяния злодея: „Ты спросишь меня: какая цель этой пьесы. Прочти описание угрызений совести, изображение смерти младшего брата — вот мой ответ“. ²

События 14 декабря 1825 г. исключили из общественной жизни „Полярную звезду“, а вместе с ней на два года были исключены и „Братя-разбойники“. Только с появлением поэмы отдельной книгой некоторые журналы дали более или менее развернутые рецензии, но

¹ „Московский телеграф“ 1825, ч. II, 8, 328.

² „Сын отечества“ 1825, ч. 101, № 10, 196—197.

ни в одной из них не было отзывов хвалебных, что имеет свою закономерность. Расправа реакционного дворянства с декабристами отбила охоту даже у таких „демократических“ журналов, как „Московский телеграф“, превозносить поэму, которая оказала большое воздействие на декабристов, ставилась ими в одну линию с „Исповедью Наливайко“ и „Войнаровским“ Рылеева и, по выражению декабриста Штейнгеля, „дышала свободой“. ¹

Поэтому рецензенты в лучшем случае старались отыскать „нравственную сторону“ в поэме и якобы заложенной в ее герое возможностью покаяния думали ограничить целеустремленность „Братьев-разбойников“. В таком плане выдержана была рецензия „Сына отечества“.

„Поэзия и музыка производит очаровательное, можно даже сказать, чудное действие на душу человека. *Первая возбуждает в нас иногда соучастие к лицам и предметам, кои, в обыкновенном о них понятии, более способны внушать нам негодование, даже отвращение, нежели какое-либо чувство доброжелательства* (здесь и ниже курсив мой. В. З.); вторая, нередко выражая звуками нестройство, пленяет нас гармониею самого разногласия. Таково волшебство изящных искусств. Они настраивают душу на тот лад, на который хотел ее навести своенравный гений поэта или сочинителя музыки. Мы негодуем на пороки действующего лица поэмы и невольно уделаем ему вздох сожаления; досадуем на некоторые звуки, оскорбляющие наш слух (не напрасно Пушкин уверял Бестужева, что „отечественные звуки оскорбят нежные уши читательниц“. В. З.), и не можем себе дать отчета, почему в целом они нам нравятся. Небольшая поэма Пушкина „Братья-разбойники“ служит новым подкреплением сей задачи. В сей поэме разбойник, недавно завербовавшийся в шайку грабежа и убийства: ни одна добрая склонность, ни одно доброе дело не искупают пороков его и злодейств. Наконец, он вместе с братом своим и товарищем в разбоях попадает в руки правосудия, закованы и брошены в тюрьму, ожидая достойной мзды своим преступлениям. Брат его, младший годами, не мог перенести узничества, он впал в тяжкую болезнь, и в бреду горячки, между устрашающими его призраками, видит некогда зарезанного ими старца и умоляет брата пощадить седины его.. Но молодость свое взяла — больной выздоравливает. Братьям-разбойникам удастся обмануть своих стражей; они переплывают через реку, отбиваются от погони и уходят. Но тут младший снова впадает в недуг и умирает. Старший предает бездушный труп, совершив над ним грешную молитву, и снова отправляется на промысел. Не та уже для него жизнь; нет прежней буйной радости — „могила брата все взяла“, говорит он, и последняя жалость замерла в его сердце“. Рецензент утверждает, что своей жалостью к старикам разбойник „платит

¹ Сидя в каземате Петропавловской крепости, декабрист В. И. Штейнгель, в своем письме императору Николаю, письме, посвященном вопросу о причинах восстания, касаясь влияния литературы на „политическое состояние умов“, писал: „Непостижимо, каким образом в то самое время, как строжайшая цензура привязывалась к словам, ничего не значащим, пропускаясь статьи, подобные „Волинскому“, „Исповеди Наливайко“, „Разбойникам-братьям“. (См. сб. „Из писем и показаний декабристов“ под ред. А. К. Бороздина, СПб. 1906, 67.)

дань памяти своего брата, который умолял его в тюрьме за старца“. Эту черту рецензент гипертрофирует, делает ее основным мотивом поэмы и ею определяет характер пушкинского героя: „В характере сего разбойника, при всей его жестокости и развратности, видим одно господствующее чувство природы — любовь братскую; она, за недостатком добродетели, за отсутствием совести, сдерживает иногда в нем порывы кровожадности, и она-то, выраженная очаровательными стихами Пушкина, пробуждает в нас минутное чувство жалости даже к разбойнику. Вот нравственная сторона сей поэмы из которой можно вывести следствие, что человек, даже в крайнем унижении своем, не вовсе еще отбрасывает те чувствования, которые милосердый промысл влил в душу его при самом рождении“.¹

Я привел этот пространный отзыв с тем, чтобы уяснить смысл восприятия пушкинской поэмы „либерально-благомыслящими“ журналами, каким в 1827 г. был „Сын отечества“. Объяснить „жалость“ читателя к разбойнику тем, что в „злодее“ заложены возможности исправиться, что поэзия производит „очаровательное действие на душу человека“, и вместе с тем подчеркнуть отталкивающие, внушающие „негодование, даже отвращение“ черты героя поэмы — вот какие задачи поставил перед собой рецензент „Сына отечества“.

Прямее и, пожалуй, правильнее с определенной точки зрения (дворянской) поставила вопрос о социальном смысле „Братьев-разбойников“ реакционная критика; она нашла подлинные черты пушкинского героя, остановила свое внимание на этих чертах и попыталась вооружить на борьбу с ними своих читателей.

Особенно остро ставился вопрос о месте „Братьев-разбойников“ в литературе двумя журналами: „Галатеей“ в 1839 г. и „Маяком“ в 1843 г.

Прежде всего „Галатея“ резко разграничила освоение формы и содержания поэмы: „На „Братях-разбойниках“ мы не намерены долго останавливаться: это рассказ разбойника в кругу новых его товарищей-разбойников, рассказ легкий, живой, *поэтический по изложению, но не по содержанию*“; отрицая поэтическую сущность содержания поэмы, критик был вполне последовательным ибо вкладывал в термин „содержание“ конкретный социальный смысл, между тем как пушкинская поэма, по его разумению, по своей социальной направленности, представляла собой явление незаконное.

*„В самом деле, что вы найдете поэтического в земледельце, который, соскучивши добывать насущный хлеб трудами, пустился с братом на промысел, более легкий и более выгодный — на разбой“.*²

Этим замечанием безымянного критика „Галатеи“ блестяще вскрывается истинное содержание „Братьев-разбойников“, против которых так рьяно ополчился ревнитель самодержавно-крепостнических устоев, усмотревший в поэме действия, направленные против этих устоев, а в ее герое „земледельца“, осмелившегося выступить с ножом в руках против жизни, положенной ему по закону „общества“. Такой герой был явно

¹ „Сын отечества“ 1827, ч. 114, № 10, 399—402.

² „Галатея“ 1839, ч. III, № 24, 482—485.

не на своем месте, так как являл собой далеко не поэтический предмет, и даже наоборот — предмет, недостойный поэтического осмысления, предмет низкий и безнравственный. Низость и безнравственность пушкинского героя, его облик „земледельца“ и отсутствие в нем „высоких идеалов“ послужили причиной того, что „Галатея“ начисто отвергла возможность каких бы то ни было связей между „Братьями разбойниками“ и „восточными“ поэмами Байрона: „Братья-разбойники“ вышли в свет после „Шильонского узника“ в прелестном переводе Жуковского, это подало повод многим думать, что „Братья-разбойники“ — не что иное как подражание байронову „Шильонскому узнику“. Мы этого мнения не разделяли и не разделяем с другими; с первого взгляда, конечно, оно покажется если не справедливым, то по крайней мере правдоподобным; но вникните глубже в то и другое создание, и вы увидите, что между ними нет ничего общего; ставить их в параллель значило бы обижать британского поэта; в байроновом произведении видите вы глубокую мысль, в его герое принимаете вы живое участие. Иначе и быть не может — он страдает невинно, он переносит муки, одну другой несноснее, за религиозное мнение, само по себе святое, от чистого сердца посеянное отцом в чистом сердце сына. Это — трагедия, трагедия высокая, нравственная. *В „Братях-разбойниках“ Пушкина и тени подобия этому нет: можете ли вы сочувствовать человеку, который оставляет общество потому только, что не хочет трудиться ни в нем, ни для него, ни даже для себя, и режет встречного и поперечного. А где нет сочувствия, там нет и поэзии“*

Нельзя не отметить, что критик „Галатеи“, может быть помимо своего желания, почти правильно подошел и к разрешению проблемы „байронизма“ „Братьев-разбойников“, хотя эта „правильность“ была прежде всего моментом, нужным реакционному критику для снижения качества поэмы. Он правильно констатировал отсутствие в пушкинском герое-„земледельце“ каких бы то ни было высоких, с его точки зрения, побуждений, оправдывающих его „злодейство“, и, в противовес этому, наличие у разбойников Байрона титанических воззрений на борьбу с безнравственным обществом; он законно отметил „обычность“, „серость“, „третьеразрядность“, страшную для него реалистичность пушкинского „земледельца, который режет встречного и поперечного“; но эти то черты „Братьев разбойников“ объяснялись спецификой александровской России, в которой тысячи крепостных должны были братья за нож и кистень для того, чтобы избавить себя от ненавистного рабства; эти то черты и делали „Братьев-разбойников“ произведением в высшей степени оригинальным и более реалистичным, чем другие пушкинские поэмы эпохи его политической ссылки на юг России.

Правильно поняв опасность для „умов“, заключающуюся в содержании „Братьев-разбойников“, критик не считал нужным вдаваться в анализ достоинств поэмы, ибо сами герои ее были для него прежде всего предметом не поэтическим: *„Такие предметы, как „Братья-разбойники“ Пушкина, — писал он, — не стоят не только прекрасных, но даже и никаких стихов; это значит беспольно татить сокровище дарований, которые ниспосылаются нам свыше для*

лучшего употребления, для возвеличения, для прославления добродетели и ее источника — бога“.

Не менее любопытную, а по своей тупости и ограниченности пожалуй еще более последовательную критику „Братьев-разбойников“ дал на страницах „Маяка“¹ небезызвестный генерал-лейтенант, корабельный инженер и „истинно-русский человек“ Степан Анисимович Бурачок, совокупно со своим приятелем, таким же „истинно-русским человеком“, преподавателем словесности 2-го Санктпетербургского кадетского корпуса Авксентием Матвеевичем Мартыновым.

„Флигельман мишурной Российской письменности А. С. Пушкин,—по уверениям почтенных критиков,—оторвавшись от кормилы здравомыслия и растворив настежь двери уголовной поэзии (poésie du crime), написал „Братья-разбойники“, эту выписку из уголовного дела в стихах“, которая открыла собой галерею его преступных героев.

Погодин, один из первых заговоривший об „отпечатке меланхолии британского поэта“ на содержании „Братьев-разбойников“, доказывал, что в старшем разбойнике виден „голод души, не насыщаемой преступлениями и за удары судьбы, к нему неприязненной, неправом мстящей всему человечеству“, и что „разбойник младший напоминает свою участь меньшего брата Шильонскому узнику“.²

Иван Киреевский в своей статье „Нечто о характере поэзии Пушкина“,³ касаясь „южных“ поэм и констатируя близость „Кавказского пленника“ и „Бахчисарайского фонтана“ к поэмам Байрона („тот же способ изложения“, „тот же тон“, „такая же неопределенность в целом и подробная отчетливость в частях, такое же расположение, и даже характеры лиц, по большей части столь сходные, что с первого взгляда их почтешь за чужеземцев-эмигрантов, переселившихся из байронова мира в творения Пушкина“), начисто отвергает „байроничность“ „Братьев-разбойников“.

„Далее всех отстоит от Байрона поэма „Разбойники“, несмотря на то, что ее содержание, сцены, описания, все в ней можно назвать сколком с „Шильонского узника“. Она больше карриатура на Байрона, нежели подражание ему. Бонивар страдает, чтобы спасти „души своей любовь“, и как ни жестоки его мучения, но в них есть какая-то поэзия, которая принуждает нас к участию, между тем как подробное описание страданий пойманных разбойников поселяет в душе одно отвращение, чувство, подобное тому, какое произвел бы вид и мучения преступника, осужденного к заслуженной казни. Можно решительно сказать что в этой поэме нет ничего поэтического, выключая вступление и красоту стихов, везде и всегда свойственную Пушкину“.

Заключение Киреевского не случайно и небезосновательно. Коренная разница между Пушкиным и Байроном, обнаруженная критиком и отмеченная в столь резком тоне, несомненна. Но Киреевский в полемическом азарте, противореча самому себе, считал, что „содержание“, „сцены“ и „описания“ в „Братях-разбойниках“ — „сколок“ с „Шильон-

¹ „Маяк“ 1843, тг. 7, 9, 10, 11.

² „Московский вестник“ 1828, I, ч. 7.

³ Там же, 1828, ч. 8, 184—185.

ского узника“; это отнесение генезиса поэмы к чисто литературному источнику тоже не случайно для Киреевского. Признание реальности пушкинских разбойников обязательно должно было привести к признанию существования жестокой борьбы крепостного крестьянства с помещиками-дворянами, к признанию далеко не смиренных и не покорных черт в „русском человеке“, который понимался Киреевским, уже начавшим свою славянофильскую ориентацию на „незлобивую душу народа“, совсем в другом плане. Только этим и можно объяснить очень суровую оценку „Братьев-разбойников“ и отрицание чего бы то ни было поэтического в содержании поэмы. Еще более последовательно высказал эту же мысль Надеждин.

В статье о „Полтаве“ Пушкина¹ Надеждин касается проблемы взаимоотношений Байрона и Пушкина и приходит к очень интересным выводам! Прежде всего он отвергает попытки формального сопоставления „восточных“ и „южных“ поэм: „Если принять . . . что отличительный характер байронизма состоит в умении *рассказывать со средины происшествия или с конца, не заботясь вовсе о спящих частях* (здесь и ниже курсив Надеждина. В. З.), то мы можем вести счет байронам дюжинами . . . Но Байрон, кажется, имел кое-что побольше и поважнее; и ежели люди бросились на его поэмы, как алкающие в аравийской пустыне к источнику ключевой воды, то, верно, не по причине царствующего в них *беспорядка*“ . . .

Надеждин останавливается на основной, с его точки зрения, черте творчества Байрона: „Сатанинским величием отливают все творения Байрона . . . Байроновы поэмы суть запустевшие кладбища, на которых плотоядные коршуны отбивают с остервенением у шипящих змей полустлелвшие черепа. Его мир есть ад“.

Переходя к Пушкину, Надеждин отрицает наличие у него байроновского „сатанинского величия“ и насмешливо констатирует чересчур тесную связь Пушкина с землей:

„К чести нашего поэта должно сказать, что подобное величие ему чуждо. Он еще не перерос скудной меры человечества, и душа его даже слишком дружна с земною жизнью. Ни от одной из его поэм не пышет этою могильною сыростью, от которой кровь стынет в жилах при чтении Байрона. Его герои в самых мрачнейших произведениях его фантазии — каковы „Братья-разбойники“ — *суть не дьяволы, а бесенята* . . . Как же можно сравнить его с Байроном. Они не имеют ничего общего, кроме разве внешней формы изложения, которая никогда и нигде не может составлять главного“.

Выводы Надеждина заслуживают самого серьезного внимания и, в известной мере, не потеряли своего значения и сейчас. Разница между „сатанинским величием“ Байрона и „скудной мерой человечества“ Пушкина констатирована Надеждиным правильно. Ироническое же отношение критика к осмеянным им пушкинским „бесенятам“, якобы проигравшим от сопоставления их с байроновскими „дьяволами“, тоже было в какой-то степени закономерно. Надеждин не мог предвидеть того, что элементы реализма, заложенные в юношеской поэме Пушкина, вырастут в гениальные реалистические полотна творчески созревшего

¹ „Вестник Европы“ 1829, май, № 9, 19—21.

поэма. Критик не усмотрел самого главного: что „бесенята“ Пушкина далеки от кладбищенских коршунов и змей именно (и только) потому, что они близки к реальной действительности, что они являются выражением этой действительности. Для характеристики этих своеобразных черт „Братьев-разбойников“ витиеватых росчерков иронического и довольно острого пера критика „с Патриарших прудов“ было мало: для этого нужен был гений Белинского, давшего незадолго до смерти блестящую характеристику поэмы, характеристику, сохранившую всю свою глубину и сейчас.

Ни Греч, ни Булгарин, объявлявший о „живости картин“ в отрывке, „который можно считать поэмою“, ни Погодин, ни Киреевский, ни Надеждин не смогли дать более или менее конкретного разбора „Братьев-разбойников“ и сказать что-либо определенное о целеустремленности поэмы. После того как Пушкин, готовя к печати уцелевший отрывок, вытравил из него все „недозволенное“ и этим смягчил содержание поэмы, удалые подвиги и переживания разбойников крепостных можно было, в известной мере, понимать как „туманные, байронические мечты, странные в людях низкого состояния“.

После смерти Пушкина, когда стало выходить первое собрание его сочинений, среди суждений о сюжетной несамостоятельности „Братьев-разбойников“ начали раздаваться голоса, пытавшиеся установить связь поэмы с русской действительностью, ее „местный колорит“ в отличие от других „южных“ поэм. Первым, пожалуй, сделал это Сенковский (кажется: статья не подписана), решивший утвердить за „Братями-разбойниками“ название „родной“, „национальной пьесы“. „Между большими созданиями Пушкина „Кавказский пленник“ и „Бахчисарайский фонтан“, — писал Сенковский, — более других носят на себе отпечаток того невольного влияния, которое имел над ним суровый певец Альбиона. Но и тогда уже Пушкин освобождался по временам от этих тяжелых оков и гордо и свободно запевал русским голосом, как в „Братях-разбойниках“. *„Братья-разбойники“ носят на себе отпечаток того национального направления, которое составляет характер Пушкина* (здесь и ниже курсив мой. В. З.). В этой чудной картине дикая русская удаля охвачена меткими чертами. Это беззаботное молодечество вырвано из жизни. *Тут нет ничего заимствованного или все заимствовано у самой жизни*“.¹

Критик „Библиотеки для чтения“ правильно заострил вопрос о характере поэмы Пушкина и правильно отметил ее оригинальность, ее близость к действительности; но оригинальные черты „Братьев-разбойников“ критик понимал совсем не так, как, скажем, Белинский (на отзыв которого я сошлюсь ниже). „Национальное направление“ поэмы заключалось, по мнению критика, прежде всего в картинах „дикой русской удали“, социального смысла которой он не видел и не хотел видеть; ему достаточно было упомянуть о „беззаботном молодечестве“, для того чтобы читатель, по разумению критика, понял реалистические черты „Братьев-разбойников“ и их оригинальность. Эта односторонность сотрудника „Библиотеки для чтения“ основывалась на понимании роли „народа“ сильно поправившими либералами, чья былая розовость

¹ „Библиотека для чтения“ 1840, т. 39, отд. V, 5.

сменилась к 40-м годам белоснежной верноподданностью; народность только в колоритной экзотике, только в абстрактной „удали“, только в отвлеченной специфике „русского молодечества“ — вот сущность только по своей форме правильного определения Сенковского.

Характеристику „Братьев-разбойников“ еще при жизни Пушкина дал Chopin в „Revue Encyclopédique“.¹ Эта рецензия приобретает тем больший интерес, что Шопен прекрасно знал Россию.

Jean Marie Chopin в течение долгого времени был секретарем и библиотекарем А. Б. Куракина (1752—1818); в 1818 г., после смерти князя, Шопен возвратился во Францию, но не потерял связи с Россией, так как его мать жила в Пензе, где содержала модный магазин.²

Очень образованный человек, острый наблюдатель, европеец, ненавидящий „русское рабство“, Шопен в 1821 г. издал в Париже (анонимно) книгу „Coup d'oeil sur Pétersbourg“, которая в 1822 г. была переиздана под заглавием: „De l'état actuel de la Russie, ou observations sur ses moeurs, son influence politique et la littérature; suivies de poésies traduites du russe“.³ В этой книге Шопен обрушился на „русское рабство“, на систему государственности в России и произвол дворян-помещиков.

Радикальные по своему времени воззрения пушкинского критика и переводчика определили характер его рецензии на „Братьев-разбойников“. Причину того, что пушкинские „разбойники“, несмотря на свои преступления и пороки, вызывают симпатии читателя, Шопен видит в том, что их действия направлены к обретению независимости, свободы, в том, что Пушкин возвысил их поступки стремлением освободиться от рабства. В этом моменте Шопен склонен видеть политическое содержание: „D'où vient que l'auteur intéresse au sort d'un être dégradé? Est-ce l'amour fraternel qui seul peut pallier des fautes si monstrueuses? Plus on avance dans l'étude du coeur humain, et plus on est convaincu qu'il n'est point de scélératesse sans quelque mélange de vertu, comme il n'est point de vertu sans faiblesses... Mais, ici, la disproportion est effrayante. Ne serait-ce point plutôt cet amour vif de l'indépendance, dont les poésies de M. Pouchkine portent une empreinte si originale, qui attache le lecteur par un attrait sympathique? On aime Pouchkine de tout l'amour qu'on porte à la liberté; et dans les deux Brigands, cette influence suffit peut-être pour déguiser l'immoralité du sujet. *Il y a sans doute un profond sentiment politique* (курсив мой. В. З.) dans ce vers: Mnè tochno sdes... ia v'lès khotchou!... J'étouffe dans les fers... rendez-moi l'air des bois“ ...

Выше я уже указывал на то, что эти же слова поэмы: „мне душно здесь... я в лес хочу“ расценивались „Московским телеграфом“ как „приводящие в трепет“ и заставили журнал предсказать Пушкину „великое назначение“.

Белинский, как известно, дал два отзыва о „Братьях-разбойниках“, в первом из них он утверждал, что в поэме „все ложно, все натянуто.

¹ „Revue Encyclopédique“ 1830, t. 45, 658—660.

² Полное собр. соч. кн. Вяземского (изд. Ш-реметева), т. IX, 75.

³ См. прим. В. И. Сангова к т. III Остафьевского архива, 390.

все мелодрама и ни в чем нет истины“; что пушкинские разбойники похожи на „шиллеровых удалцов третьего разряда из шайки Карла Моора“. Однако через девять лет, в одной из своих последних статей „Взгляд на русскую литературу 1847 года“¹ великий критик отзывался о „Братьях-разбойниках“ совсем иначе:

„Наконец, явился Пушкин, поэзия которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение относится к стремлению. В ней слились в один широкий поток оба (идеальный и реальный), до того текшие отдельно, ручьи русской поэзии. Русское ухо услышало в ее сложном аккорде и чисто русские звуки. *Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли элементы жизни действительной, что доказывается смелостью, в то время удивившею всех, ввести в поэму не классических итальянских или испанских, а русских разбойников, не с кинжалами и пистолетами, а с широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного из них говорить в бреду про кнут и грозных палачей*“.

Отзыв Белинского, увидевшего в „Братьях-разбойниках“ „элементы жизни действительной“, не требует комментариев, и удивительно, почему до сих пор он не привлекался в изданиях Пушкина как самое верное определение значения пушкинской поэмы.

П. В. Анненков в „Материалах“ ограничивался ссылкой на то, что „чуткому слуху Пушкина сейчас открылось, что сознание душегубца слишком сложно, эффективно“, и потому Пушкин сжег поэму; из материалов же, заготовленных для „Разбойников“, — заключает Анненков, — вышла впоследствии пьеса „Жених“.²

Чернышевский в своей замечательной рецензии на анненковское издание сочинений Пушкина останавливается на плане „Братьев-разбойников“ и, присоединяясь к мнению Анненкова о „Женихе“, выросшем из плана, приходит к выводу, что Пушкин, недовольный художественными качествами написанного начала „Братьев-разбойников“, „заметил, что сюжет не представляет довольно глубины для широкого развития и сжег поэму“; вместе с тем Чернышевский, чувствуя огромное значение пушкинского разбойничьего сюжета и сопоставляя его с „Русалкой“, отдает последней предпочтение „не по содержанию, не по мысли“, а только „по эстетическим достоинствам выполнения“, считая

¹ Белинский, соч., кн. XI.

² „Материалы“, 108. Анненков не считал необходимым объяснить, почему Пушкину, уловившему „чутким слухом“ сложность и эффективность сознания „душегубцев“, понадобилось обязательно сжечь незаконченную поэму, а не просто оставить ее. Между прочим, анненковская оценка „Братьев-разбойников“ позже вызвала суровый ответ В. Зотова, печатавшего в 1861 г. в журнале „Северное сияние“ цикл статей о Пушкине. Зотов писал: „У г. Анненкова никогда не было ни малейшего чуткого критического слуха, иначе он не навязал бы Пушкину такого мнения, сообщив тотчас вслед за этим, что поэт отправил свой отрывок для напечатания, как будто, строгий всегда к своим произведениям, он сделал бы это, если бы действительно считал монолог разбойника длинным и не русским“. Зотов полемизирует также с первой оценкой Белинского (о мелодраматичности) и считает, что „Братья-разбойники“ „достоинны занять место с другими произведениями“ Пушкина. Зотов обратил внимание и на то, что последние 16 стихов—строфа „немного риторическая“ („Сев. сияние“ 1861, 433—438).

очевидным, что „содержание“ и „мысль“ „Братьев-разбойников“ — выше „Русалки“.¹

Очень интересный отзыв о „Братьях-разбойниках“ дал Н. П. Огарев, увидевший, как и Белинский, в поэме первые элементы пушкинского реализма. Касаясь проблемы „байронизма“ в „южных“ поэмах Пушкина, Огарев указывает, что в „Братьях-разбойниках“ от влияния Байрона „оставались только внутренняя, затаенная, но всегда чувствуемая вражда с правительственной жизнью и потребность освобождения“, что „Пушкин начинает отделяться от байроновского идеала в „Братьях-разбойниках“, которые уже не просто антитезис англичанину или европейцу, а стоят на реальной почве“.²

Таковы отзывы критики о „Братьях-разбойниках“, отзывы противоречивые, непохожие друг на друга. Однако эта противоречивость закономерна.

Тема пушкинской поэмы, посвященная изображению человека „низкого звания“, тема о разбойнике-крепостном, романтический стиль поэмы, чрезвычайно свежий и оригинальный благодаря ориентации Пушкина на народное творчество, язык, сохранивший „библейскую похабность“ „отечественных звуков“, содержание поэмы — все это не могло не вызвать самой положительной оценки „Братьев-разбойников“ со стороны наиболее передовой части критики, начиная от вождя декабристов Рылеeva до революционера-демократа Чернышевского. Тот факт, что в своих отзывах о „Братьях-разбойниках“ сошлись в конечном счете Рылееv, Огарев, Чернышевский, не случаен, как не случайно и то, что Белинский, в пору своих увлечений гегельянством, недооценивший поэму, позже увидел в ней глубокую оригинальность и огромную политическую смелость, „в то время удивившую всех“.

Никакой случайности нет и в том, что именно реакционная критика ополчилась против „Братьев-разбойников“: „земледелец, который режет встречного и поперечного“, „уголовный преступник“ не мог быть встречен иначе этой частью критики, увидевшей в поэме „выписку из уголовного дела в стихах“, далекую от „возвышенной поэзии“. Реакционеры и обскуранты типа пресловутого Бурачка через двадцать лет после создания поэмы встречали ее пронзительным свистом по тем же самым причинам, по каким Рылееv, Белинский, Чернышевский и Огарев отзывались о ней как о произведении, полном живой мысли и пафоса борьбы.

¹ См. „Современник“, 1855, №№ 2, 3, 7, 8.

² См. предисловие Огарева к сб. „Потаенная литература XIX века“, Лондон, 1881.